

10.335
1990

საქართველოს
საბავშვო ჟურნალი



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ. Хранители Грааля. Роман. Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе	3
ШОТА НИШНИАНИДЗЕ. Стихи. Переводы Людмилы Букиной, Яна Гольц- мана	46
МАРИНЭ ЦОЦКОЛАУРИ. Три новеллы. Пе- ревод А. Козырева	52
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР. Стихи	62
МИХО МОРЧИЛАДЗЕ. Повесть о Бахмаро, о Батуми, о том, как украли любовь. Перевод автора	66
ЛАША ИМЕДАШВИЛИ. И ты, как все. Рас- сказ. Перевод Лианы Татишвили	116
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ	
ЛЕВАН ХАИНДРАВА. Ровно через год	150

1

Издательство ЦК КП Грузии, Тбилиси
Журнал выходит с июня 1957 года

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ. Достоевский. Публикация и перевод Мананы Нинидзе 155

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

МАРИНА КШОНДЗЕР. «Уже не я пою — поет мое дыханье» 162

ИГОРЬ БОГОМОЛОВ. Терентьев и Грузия 169

ЛЮДИ И ФАКТЫ

ЮРИЙ ХЕЧИНАШВИЛИ. Хроника одной родословной 208

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

РОМАН МИМИНОШВИЛИ. Кто виноват? — вопрос Министерству связи СССР 220

КОНТАКТЫ

КАМИЛЛА КОРИНТЭЛИ. Грузиноязычные книги в Израиле 222

* На 1-й стр. обложки: фрагмент древнегрузинской рукописи Ветхого завета.

Хранители Грааля

РОМАН

ПРОМЕТЕЕВ ПОРЫВ

Он собрал корреспонденцию, в беспорядке лежавшую на письменном столе. И тут ему бросился в глаза старый, пожелтевший от времени конверт. Письмо отца, подумал он. Он достал письмо из конверта и, прежде чем прочесть его, стал пристально вглядываться в беспомощный почерк отца. Он начал читать письмо так, как будто до этого не читал его. Простые, неприязнительные слова: «Я увидел, как в мою комнату залетела маленькая пташка. Она щебетала с таким возбуждением, словно хотела сообщить мне какую-то весть. Я всегда, согласно старому обычаю, обращаюсь к такой залетной гостье с приветствием: принеси мне, птичка с золотым клювом, добрую весть. Но сегодня я почему-то не приветствовал ее, и она, не дождавшись моего привета, разочарованная, улетела в далекую даль. О чем могла она поведать мне? Разве только что-нибудь недоброе. Боли и недуги разрывают мое старое, слабое тело. Я смотрю на солнце, но его лучи уже не радуют меня».

Леван продолжал читать. Все те же простые, неприязнительные слова. Но он читал их с затаенным дыханием, ибо они выражали предчувствие близкой смерти их автора. Крик божьего создания был приглушенным, почти беззвучным. Леван прочел письмо до конца. Оно было датировано 21 сентября 1910 года. Через несколько дней после его написания отец скончался. Он старался не думать о смерти отца. Это причиняло ему боль. Сегодня было 27 апреля 1924 года. Прошло более 13 лет, подумал он, болезненно ощутив утрату, как

საქ. სსრკ. კ. მარტინი
 სსს, სსს. კ. ს. კ.
 ბ. ბ. ბ. ბ. ბ. ბ.

будто отец умер лишь вчера. Он отложил письмо и уставился невидящими глазами в пустоту. Затем взял в руки небольшой фотоснимок отца, стоявший на столе. С умилением всматривался он в лицо покойного отца. Оно было бесконечно печальным. Леван вздрогнул: как же могло лицо опечалиться после смерти? Ему казалось, что отец все еще умирает. Он был потрясен. С благоговением поставил он снимок снова на стол. Погрузившись в немую молитву, он мысленно последовал за отцом.

Так прошло несколько минут. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — сказал хозяин дома. Служанка принесла почту. Он просмотрел газеты и обратные адреса на конвертах писем. На одном из них он остановил свое внимание: оно было из Берлина. Как приятно получить весточку из другой страны, тем более, если она от друга. Друг этот, в частности, писал о странном душевном состоянии, пережитом им когда-то: «Вскоре после того, как мне исполнился 21 год, когда я во время сдачи экзамена на пилота без спутников совершал свободный полет на аэростате, мной овладело странное чувство. Это было ощущение не испытанной мною доселе полной уравновешенности всего моего существа, в котором слились воедино прошлое, настоящее и будущее. Это было состояние безграничной, сверхчеловеческой любви, снизошедшей на меня и распространявшейся через меня на всех тех, кто когда-либо встречался мне на моем жизненном пути. Я почувствовал себя в окружении людей и других созданий, с которыми мне довелось войти в соприкосновение: живые или умершие — они все были равны между собой; и я стоял перед ними, испытывая невыразимое умиротворение, бесстрастие, безличность и все же полный горячей любви ко всем и ко всему. Мне бы хотелось в мой смертный час снова пережить это состояние во всех подробностях».

С изумлением читал Леван эти строки. Вот где, подумал он, порог вечности. Тот, кто перешагнет через этот порог, сможет достичь обители блаженных, где царит вечное сегодня. Хорошо, что так, оказывается, осеняет и европейцев, — подумал он. На Востоке подобное переживание не редкость. Сам он не раз испытывал такие состояния. Он вложил письмо в конверт и снова вспомнил об отце. Лишь теперь он почувство-

вал, как постепенно стало светлеть у него на душе. Он еще раз взглянул на фотографию отца: теперь его лицо уже не казалось ему печальным. Непостижимо, подумал он в изумлении. Но тоска все еще не покидала его, хотя и заметно смягчилась. Он оделся и пошел в город. Часы показывали половину второго.


Леван Орбели был довольно высокого роста, крепкого телосложения и приятной наружности. Ему можно было дать лет сорок. Он медленно, спокойно шел по улице. За внешним спокойствием таилось внутреннее волнение. Покой лежащего в поле осколка метеорита внушает священный трепет. Он не сравним с покоем обычного камня: так и кажется, что упавший с неба камень лежит здесь, в полном сознании, терпеливо ожидая чего-то. Огонь в нем давно погас, но он не оставил после себя пепла. Нельзя отделаться от впечатления, что черный осколок в любой миг может вспыхнуть ярким пламенем. Нечто подобное было и в облике Левана Орбели, особенно в его лице. Его большие глаза, несмотря на их глубокий черный цвет, так сильно светились, что казалось, будто они отдавали сталью. В сумерках они даже казались голубыми. В их глубине постоянно таилась невысказанная печаль, тогда как клинообразные уголки рта выражали твердую решимость. Его считали сухарем, что в общем-то соответствовало истине, но холодным он не был. Озарявшая его лицо улыбка говорила о кротости его души. «Сухая и горячая душа», — сказал бы о нем Гераклит. Теплый пот при рукопожатии всегда был ему неприятен. При встрече он производил впечатление чужого, и разговор с ним оставлял в собеседнике чувство неловкости. Леван не был вспыльчивым в обычном понимании слова, и все же казалось, что он в любую секунду способен на вспышку. Где бы он ни появлялся, возникало напряжение, угнетавшее как других, так и его самого.

Однажды — это было в 1920 году — он сидел в переполненном кафе. Вдруг появилось несколько пьяных молодых людей, запевших грузинский национальный гимн. Грузия тогда все еще праздновала вновь обретенную независимость. «Встать!» — приказал один из молодых людей. Все встали за исключением Левана Орбели. Тогда кто-то другой повторил приказ. Леван продолжал сидеть, спокойно покуривая сигарету. Тем

временем волны гимна поднялись уже высоко. Обескураженные, смотрели присутствующие на Левана. Некоторые из них, искренне разгневанные поступком Левана, были готовы в любой момент расправиться с ним. Вдруг он бросил в толпу: «Стыд и позор слушать этот гимн в исполнении пьяных!» Слова эти прозвучали как удар молнии. Пристыженные молодые люди покинули кафе. Все успокоилось, лишь Леван, изменившись в лице, дрожал от волнения. Он знал, что был способен на подобные вспышки. Это был его скрытый, темный демон, и совладать с ним Леван не мог. Бесконечное наслаждение испытывал он, подчиняясь порыву избыточных сил в себе. Порыв этот, однако, неизменно заканчивался самоопьянением. Он стремился навстречу опасности, той опасности, которую таит в себе своеволие. Не напрасно был Прометей прикован к скале на Кавказе. Орел и по сей день клюет его печень.

Мужественный, замкнутый, шел он по улицам города. Ясный апрельский день укреплял в нем чувство собственного достоинства. Весна сияла прозрачной лазурью свежего воздуха. Солнце, словно юноша, вновь справляло свое рождение. Леван зашел в небольшое кафе, где часто собиралась богема, хотя он и не чувствовал себя к ней причастным. Там собирались поэты, художники, актеры театра и кино. Среди них было и несколько большевиков, которых тянуло к богеме.

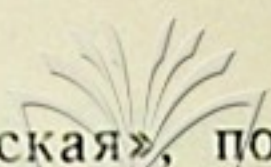
Как обычно, и на сей раз почти все столы были заняты. Леван устроился за небольшим столом сразу же у входа. Он заказал себе шашлык и бутылку терпкого кахетинского: ту марку, которую предпочитал всем другим, потому что это вино не притупляло чувств, а возбуждало их. Напротив Левана сидел грузин, работник ГПУ, с каким-то незнакомцем. Он не был лично знаком с Леваном, но знал его издали. Он поднялся с затаенной злобой на лице, как поднимается змея, опираясь на серповидный отросток своего хвоста. Это видение длилось лишь один миг, в течение которого Леван увидел голову змеи со скудным волосяным покровом и лицо почти без бровей. У него были маленькие, немного влажные и все же пронизывающие глаза, постоянно бегающие и избегающие встречного взгляда: они глядели то вправо, то влево, но никогда не глядели прямо. Сквозь пенсне они производили еще более жут-



кое впечатление. Вот что еще бросалось в глаза в его облике: несмотря на худобу, лицо его мерзко блестящим. Он ненавидел Левана так же, как и Леван ненавидел его. К этой взаимной ненависти был примешан, по-видимому, и взаимный страх. Оба вполне отдавали себе в этом отчет и ни единым жестом не выдавали себя при случайных встречах. У Левана пропал аппетит. Он внимательно посмотрел на незнакомца, сидевшего рядом с работником ГПУ и вздрогнул: возможно ли, чтобы встреча, приснившаяся когда-то, с такой точностью повторилась наяву? Около года тому назад он увидел во сне человека, как кошмар подействовавшего на него. И вот теперь этот кошмар сидел перед ним во плоти. Нервы Левана напряглись. Незнакомец беседовал с работником ГПУ по-русски, хотя не был похож на русского. Первое, что обращало в нем внимание, были его волосы: необыкновенно густые и огненно-рыжие, затем цвет лица: бледная желтизна, усыпанная веснушками. На левом крыле носа выдавалась, словно поросшая мохом, большая бородавка. Но страшнее всего были его серовато-коричневые, далеко и косо расставленные глаза с темно-желтыми зрачками. Он косился в сторону Левана, который никак не мог поймать его взгляд. Надо было обладать выдержкой самурая, чтобы устоять перед мертвящим взглядом этого человека. Он говорил медленно, слова отдельно, как горошинки, срывались с его губ. Его глухой голос напоминал голос деградировавшего тибетского мага. Этому чудовищу Леван во сне хотел ножом перерезать горло. Леван почувствовал как дрожь прошла по его телу. Затем он немного успокоился, но в душе волнение нарастало. Как бы напорвшись на мину, взрыва которой удалось избежать, сидел он, охваченный страхом. И все-таки силы возвращались к нему волна за волной. Опасность, угрожавшая ему, исчерпала себя...

Без заздравного тоста невозможно себе представить застолье в Грузии, даже в подобном кафе. Мужчины коротко приветствовали друг друга с бокалом в руке. Под конец поднялся огненно-рыжий, с притворной приветливостью оглядел всех присутствующих и сказал, обращаясь ко всем:

— Слава Советской Грузии! — Кое-кто повторил здравицу слово в слово. Некоторые же произнесли лишь



«Слава!», избегая щекотливого слова «советская», поступаясь именем своей родины. Огненно-рыжий обратил на это внимание, но не подал виду. Леван же ответил ему без уверток и почти вызывающе здоровницей, освященной веками: «Слава Грузии!» Этого огненно-рыжий не ожидал. Он изменился в лице, однако тут же овладел собой и лишь плотно сжал губы, язвительно усмехнувшись. Несколько мгновений длилось напряженное молчание. Своему спутнику он шепнул: — Гм: «Слава Грузии!» Без «Советской».

Эта фраза предназначалась Левану, ибо незнакомец взглянул при этом в его сторону. Теперь очередь была за Леваном. Он готов был бросить им в лицо гневные слова: «Какое вы имеете отношение к Грузии?» Но уже в следующее мгновение слова застряли в горле, как бы придавленные кем-то. Он сидел неподвижно, уставившись на огненно-рыжего, восседавшего, словно фантастический Голем. Леван еще раз попытался встретиться с ним взглядом, чтобы бросить ему вызов, но тщетно: тот был недосягаем. Нагло, с нескрываемым чувством превосходства, глядел он перед собой. Ярость овладела Леваном. Однако отвращение, которое незнакомец вызвал у него, заставило его встать и покинуть кафе.

Погруженный в мрачные мысли, снова шел Леван по улицам города. Что, собственно, должна была означать эта проявленная им сегодня сдержанность? — спрашивал он себя раздосадованно. Самообладание? Но ведь оскорбление было нанесено ему лично. Может быть, это был страх? Да, скорее всего страх,—признался он себе откровенно. Он додумал мысль до конца: в большей степени страх, нежели самообладание. Но это не успокоило его: в глубине души он чувствовал себя уязвленным. Так разрушается сущность человека, — продолжал он свои мысли. Вот уже три года, как он ощущал на себе давление этого человека. Никогда не приходилось ему испытывать ничего подобного: этот огненно-рыжий Голем являл собой леденящее душу воплощение советского кошмара.

Вдруг навстречу ему бросилась Айша, маленькая девочка, дочь привратника-езида. У девочки были необыкновенно красивые глаза.

— Леван! Дядя Леван! — воскликнула обрадованная девочка и обняла Левана.

— Здравствуй, Айша! Как поживаешь? — спросил Леван, глядя ее головку.

— Хорошо, — ответила она и посмотрела на Левана испытующе. — Но ты неважно выглядишь. Что с тобой? Ты заболел?

— Нет. Ничего.

— Но у тебя какой-то туман в глазах.

— Туман? — Он провел рукой по лицу. Странно: ему показалось, что он только что стер с себя призрак.

— Теперь все в порядке, — сказала Айша, — тумана уже нет. Теперь я хорошо вижу тебя.

Леван с удивлением уставился на девочку.

— Сколько ты зарабатываешь в неделю? — спросил он. Девочка иногда попрошайничала.

— Рублей пять.

— Возьми! — сказал он и дал ей десятирублевую бумажку.

— Так много! — вскрикнула девочка от неожиданной радости.

— Теперь ты можешь две недели сидеть дома, — сказал он.

Айша почти разочарованно взглянула на Левана.

— Тебе, конечно, скучно дома? — заметил он.

— Если я две недели не буду выходить на улицу, то не смогу видеть тебя.

— Ах вот как! Ты, значит, так сильно меня любишь?

— Очень.

— За что же ты меня любишь?

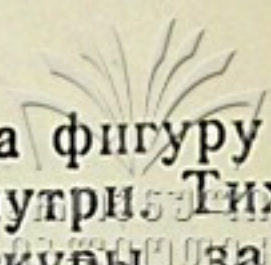
— Ты не такой, как все. Ты добрый.

— Ну хорошо. Ты можешь и в эти дни шататься, сколько душе угодно. Но только, чур, не попрошайничать!

— Хорошо, — согласилась маленькая ездка и, сияя, упорхнула.

Леван долго смотрел ей вслед. Неужели езиды служат дьяволу, как это утверждают многие, — подумал он. — Это просто невероятно. Глядя на эту малышку, такое и не подумаешь.

Он наяривился в старый район Тбилиси. Здесь он неизменно ощущал неповторимый дух прошлого. Здесь



каждый дом похож на вырезанную из дерева фигуру с меланхоличным лицом, как бы глядящим изнутри. Тихо стоят эти дома. Так и кажется, будто это куры, задремавшие к вечеру и закрывшие глаза. Они стоят разрозненно, каждый сам по себе, объятые одним воздушным пространством. Каждый из них живет своей, обособленной жизнью, постоянно оглядываясь на жизнь других. Если в одном из них нежданно-негаданно вспыхивает радость, то она тут же поселяется и в других. Если же в одном лежит покойник, то скорбят во всех. Люди сидят в крохотных комнатках и слышат смех, раздающийся то на одном, то на другом балконе. Здесь все дома равноправны, они все близкие друзья. В каждом домике бьется сердце, прислушивающееся к биению сердца другого. Там и сям виднеются маленькие часовни: все вокруг них словно наполнено священной неприкосновенностью. В простых старых камнях застыли молитвы: часовни освобождают дома от напряженного бдения будней и, воспаряя, уносят их в неведомую даль. Узкие улочки. В их тесноте порой пробуждаются призраки прошлого. На склонах холмов, от самой реки, быстро и неудержимо растет вверх город, располагаясь террасообразно. С балкона каждого дома открывается великолепный вид: чем выше, тем прекраснее. Верхние ряды прикрывают нижние.

Леван достиг верхней террасы. Оглянувшись, он восхищенным взором окинул лежавший внизу город. Расположенный в глубокой горной долине, он, словно мираж, плыл на восток, напоминая фантастический корабль, неописуемо прекрасный и роковой. Может быть именно очарование этого сказочного города манило к себе бесчисленные народы и племена, из века в век стремившиеся покорить его, присвоить его себе как нечто прекрасное?

Леван стоял очарованный. Тени удлинялись и становились все таинственнее. Вдали простиралась покрытая фиолетовой дымкой молчаливые Караязские степи. Леван постепенно вращался в город, с душевным трепетом вслушиваясь в легенду о нем. Воспоминания — одно за другим — выплывали из темных недр его сознания.


ЛЕГЕНДА О ТБИЛИСИ



საქართველოს
საბჭოთაო ენციკლოპედია

Царь выпускает за фазаном своего сокола в небо. Сокол преследует фазана. Царь ждет, ждет долго, но сокол не возвращается. Фазана тоже нигде не видать. Тогда он отправляется на поиски обеих птиц и в ущелье достигает роши, через которую течет горячий серный ручей. Он видит: и сокол, и фазан утонули в ручье. Царь решил основать здесь город. Он назвал его Тбилиси, что означает: «теплый ручей». Такова легенда о Тбилиси. Ни в одном источнике не найти точной даты этого события. Но ведь это и не столь важно. Для нас интерес представляет тот факт, что в этой легенде погибают оба: и преследуемый, и преследователь. На протяжении многих столетий в реальной жизни этого фантастического города повторяется легенда о соколе и фазане.

Уже на заре истории в Тбилиси вторгаются персы: до конца VI века здесь господствуют представители династии Сасанидов. Однако военная мощь грузин растет из года в год, и вот город, наконец, изгоняет непрошенных иноземцев. Но уже в 626 году дикие племена хазаров, поддерживаемые стареющей и коварной Византией, нагрянули с севера и штурмом взяли крепости города. Тбилиси вновь в руках врагов. Когда волна ислама прошла через весь мир, полководец калифа Омара, Мурван Глухой овладевает желанным городом. Через небольшой промежуток времени хазары еще раз покоряют Тбилиси. После хазар здесь снова арабы, на сей раз надолго: почти в течение трех веков город платит им дань. Но Грузия и теперь не сломлена: на исходе десятого столетия господству арабов приходит конец. Царь Баграт III создает единую, монолитную Грузию. В своей резиденции в Кутаиси он строит кафедральный собор, законченный в 1003 году. Несмотря на то, что собор этот представляет собой сооружение с купольным сводом, он имеет в портале первые в истории архитектуры стрельчатые (готические) своды, нашедшие позднее свое полное развитие в готике. Через несколько веков, в то время, когда Европа еще не пришла в себя от опустошительной Тридцатилетней войны, турки разрушают это подлинное чудо



грузинского зодчества. До нас дошли лишь стройные, несмотря на свои колоссальные размеры, стены этого храма. Однако и в этих руинах ощущается дыхание веков. В 1073 году в Тбилиси вновь вторгается враг: на сей раз — сельджуки. Длившийся короткое время подъем прерывается. И вот появляется человек, сильный, Богом благословенный. Это царь Давид, прозванный в народе Строителем. Он современник Генриха IV. Он полководец и святой. Он совершает победоносные походы, не забывая взять с собой Новый Завет. Он сражается, а между сражениями творит молитву. Однажды он был близок к тому, чтобы проиграть битву, но в последний миг собрался с духом, стряхнул с себя оцепенение, и — опасность, нависшая над страной, предотвращена. Давид Строитель изгоняет сельджуков из страны, преследует побежденных и даже отбивает у них армянский город Ани. Давид подготовил почву для царствования Тамар, когда крестовые походы захлестнули Восток, и Фридрих I Барбаросса начал осуществлять идею создания империи. Наступил звездный час Грузии. Царица Тамар одерживает победу за победой над магометанскими государствами и даже облагает некоторые из них данью. Границы Грузии теперь простираются от Черного моря до Каспийского, от Дербента—врат Кавказа — до реки Аракс. Царица Тамар создает Трапезундское царство и, чтобы держать своих врагов под постоянной угрозой, передает это царство своему племяннику Алексию Комнину. За время царствования Тамар в Грузии сооружается множество крепостей, дворцов, монастырей и церквей. В Вардзиа строится пещерный многоэтажный город. В нем сотни помещений, высеченных в скале. Народ переживает невиданный подъем творческих сил, а прелестная царица еще при жизни становится легендой. Но долго ли будет длиться эта золотая пора? В степях Азии уже появляются монгольские орды. Сначала они захватили Хатаи, затем Хорезм и Персию и теперь, опьяненные своими победами, неудержимо рвутся к Кавказу. Грузия затаила дыхание в ожидании своей участи. Тбилиси — ее сердце — трепещет. Злая судьба неумолимо наступает, выбросив перед собой огромную тень: Джелал-Ад-Дин, великий полководец, побежденный монголами, в слепой ярости бросается на Тбилиси, срывая

свою злобу на многострадальном городе. Хорезмцы и грузины скрещивают клинки. Грузины сражаются героически, но слишком внезапно напал на них враг — и Тбилиси покорен снова. Опьяненный победой, Желал-Адин воздвигает свой трон на куполе кафедрального собора. Однако скоро он вынужден оставить Тбилиси. За ним по пятам идут монголы. Ни до, ни после этой битвы непобедимые полчища не встречали такого упорного сопротивления. Грузины отчаянно бьются с врагом, но они бесхитростны, и монголам это на руку. Хепе-Ноин, знаменитый полководец Чингисхана, расставляет свои войска в длинной, ведущей в город долине, в то время как Суботай Бахадур, другой не менее знаменитый полководец, применяет излюбленную уловку монголов, заключающуюся в симулировании отступления. Этот хитрый прием удается и на сей раз: полчища Хепе-Ноина внезапно обрушиваются из засады на грузинские войска, преследующие неприятеля, — и Тбилиси снова в руках врагов. Словно смерч, прошлись монголы по Грузии, сокрушая все на своем пути. Больше века длится их господство. Затем их изгоняют из страны, но не надолго. В конце XIV века второй монгольский завоеватель — Тимур — осаждает Тбилиси. Началась схватка — не на жизнь, а на смерть. Семь раз штурмует Тимур город и, в конце концов, покоряет его, несмотря на героическое сопротивление грузин. Теперь хребет Грузии сломлен: страна раздроблена на три царства и пять княжеств: нации, ее корням грозит гибель. Позднее, когда Реформация откроет в Европе новую эру, Тбилиси перейдет из рук персов в руки турок, затем грузины снова освободят его. Борьба за овладение сказочным городом почти не прекращается. В 1616 году Тбилиси завоевал лев Ирана шах Аббас I. Десять тысяч грузин погибли, защищая город, более ста тысяч было взято в плен и отправлено в Ферейдан.

Но это еще не все. На долю многострадального Тбилиси в это время выпадает самое тяжелое, необычное даже для него, испытание: однажды его осаждают не враг, а грузин по имени Гиорги Саакадзе, Великий Мурави. Он хотел исцелить истерзанное тело родной Грузии, но его старания не раз разбивались об упрямство и своеобразие разобщенных феодалов. Он всей душой любил древнюю, вечную Грузию и ненавидел современ-

ную. Это трагически-двойственное чувство давило на него, как тяжелый крест, который он был не в силах нести. К тому же он все-таки был скорее воином, чем государственным деятелем. Отчаявшись, он покидает Грузию и переходит на сторону персов. Итак, измена? Нет. Но страх перед смертельной угрозой, нависшей над Грузией, помрачил в его душе грузинское солнце, и он, подобно Прометею, становится жертвой себялюбия и своеволия. В качестве полководца он добивается в Персии еще больших успехов: все его военные походы в Азию венчают триумфальные победы. И вот однажды великий Аббас посылает Саакадзе против родной Грузии. Тбилиси снова затаил дыхание в ожидании своей участи. Два сердца бешено колотятся, как в лихорадке: сердце города и сердце полководца. Это, пожалуй, единственное испытание, которое не в состоянии выдержать отважное сердце сардара. Он снова переходит на сторону грузин и в беспримерном бою наголову разбивает персидское войско, которым еще недавно предводительствовал. Однако грузинские феодалы несправимы. И снова могучая воля Саакадзе, направленная на благо Грузии, наталкивается на непреодолимую преграду. Охваченный священным негодованием, он с любовью и ненавистью вонзает свой победоносный меч в родную землю недалеко от Тбилиси, ломает его и бежит в Турцию. Там его, ставшего еще более прославленным полководцем, чем доселе, злодейски убивают спящего. Тбилиси содрогается от ужаса, узнав об этом.

В начале XVIII века лезгины, пришедшие с севера, сровняли Тбилиси с землей. Царь Вахтанг VI обращается за помощью к Петру Великому и эмигрирует с семьей и свитой в Россию. Между Россией и Персией возникает вражда. Турки выжидают. Они улучают момент и оккупируют Тбилиси, но ненадолго. После них городом вновь овладевают персы. Царь Ираклий II обращается за помощью к императрице Екатерине II. Это приводит евнуха Ага Мохаммед-хана в ярость. В 1795 году он разрушил и разграбил город, выкупавшись в крови. Он купался и в целебных серных банях Тбилиси, надеясь, по-видимому, вернуть себе способность производить потомство. К этому времени силы Грузии иссякают. В конце XVIII века страна добровольно, по договору, присоединяется к России. Но единовенная

Россия не выполняет условия договора. Возмущенная предательством, Грузия видит, что она бесцеремонно включена в состав Российской империи в качестве одной из ее провинций. Восстания беспощадно подавляются. В конце первой мировой войны Грузия на короткое время вновь обретает свободу. Однако в феврале 1921 года 11-ая большевистская армия вторглась в Тбилиси и захватила его. В Грузии устанавливается Советская власть. Так кончается легенда о Тбилиси, созданная самой действительностью. Но призраки сокола и фазана до сих пор витают над городом.

ТОСКА, ЗОВУЩАЯ В ДАЛЬ

Леван уже достиг Мтацминда, самого высокого места города. Он все еще слышал в душе отзвук легенды, пульсировавшей, словно тяжелая кровь, в его венах. В синей дали спокойно и мощно возвышались горы, а широкие равнины уходили куда-то в бесконечность. Город, будто заколдованный, лежал в глубокой долине. Леван вспомнил, что еще в первобытные времена его народ верил, что любое место таит в себе или счастье, или несчастье. Не поселилось ли раз навсегда в этом месте, называемом Тбилиси, несчастье? Мысль эта мелькнула в его голове и тут же погасла. Опечаленный, он вопрошал: может ли быть на свете что-нибудь хуже отчего дома, ставшего для тебя чужим и неудобным? Весь город, залитый светом, лежал перед ним в бесконечном сиянии. Ни в одном городе нет столько света, подумал он. Как же могло здесь поселиться несчастье? — спрашивал он себя и не мог ответить на этот вопрос. Может быть, темные силы стремятся погасить, затмить этот свет? Леван не смог додумать эту мысль до конца. Но еще одна догадка пришла ему в голову: не исключено, что здесь, на этом месте, происходило нечто таинственное, постижение которого доступно лишь в высшей духовной сфере. Леван наизусть знал историю Грузии. Он изучил ее не просто как хронику, а вобрал в себя как кровоточащее наследие. Когда в ту роковую ночь на 25 февраля большевики заняли город, он воспринял это известие, как удар, на-

несший его существу смертельную рану. Он не мог отдать себе отчет в том, что же, собственно, произошло с ним за эти три года: он уже не обладал прежней несокрушимой внутренней силой, небесный камень его души был раздроблен. Лишь теперь он начал понимать, почему это огненно-рыжее чудовище парализовало его. С горечью смотрел он на овеянный легендами город, ставший роком и для него. Уставший и надломленный, отвернул он лицо от родного города. В таком состоянии души он не мог пойти домой. Он стал бродить без цели, как заблудившийся зверь. «То, что не губит меня, укрепляет меня», вспомнил он вдруг слова Фридриха Ницше. Неужели это золотое правило уже не имело для него силу?

Медленно спускался он по южному склону горы. На той стороне, в широкой лощине, лежала деревушка Окрокана (Золотая нива). Пышно цвели ее косогоры и луга. «Золотая нива», — шептал он про себя. Она пока еще сверкает изумрудом. Но когда через два месяца на ней все будет скошено, она станет матово-золотой. Кругом царила мягкая первобытная неподвижность. Земля позаботилась о том, чтобы тот, кто потерял покой в Тбилиси, здесь снова обрел бы его. Невдалеке слышалась песня. Пел, судя по всему, крестьянин. Тихая печаль исходила от этой песни.

Печаль всегда сопутствует грузину, даже здесь, где все дышит миром и покоем, — подумалось Левану. Из века в век пели здесь эту песню. Сегодня ее поет этот крестьянин. Все тот же напев, все та же печаль. Тех, кто когда-то пел ее, давно уже нет на свете, а песня живет, и ее будет петь другой, еще не рожденный. Интересно, думает ли этот крестьянин об этом? Нет, это грезит Леван. С грустью прислушивается он к песне. Одиночество вдруг становится невыносимым для него. Спускаясь по склону, он вдруг вспомнил, что здесь отдыхает его друг Авала. Леван решил обрадовать друга неожиданным визитом. Через двадцать минут он был уже у него.

Авала, двадцати четырех лет от роду, поэт, блондин с большими мечтательными глазами, сидел на веранде с каким-то гостем, что-то весело рассказывавшим ему. Когда Леван появился в его дворе, Авала радостно воскликнул: — Добро пожаловать, Леван!

Леван поднялся по лестнице на веранду, поздоровался с другом, который представил его своему гостю. Гость этот происходил из знатного и знаменитого грузинского рода, отца его звали просто — Диди Гиორги (Великий Георгий). Он вместе с Авала учился в Москве, где и подружился с ним. Это был молодой человек высокого роста, с необычайно правильными, но мягкими и даже, пожалуй, нежными чертами лица.

— Ну, как поживаешь? — спросил Леван Авала. — Ты, я вижу, поправился здесь, — заметил он, дружески улыбаясь. — Это, наверно, благодаря воздуху Окроканы.

— Здесь просто чудесно, я чувствую себя вновь рожденным, — ответил Авала. — Как хорошо, что вы, наконец, посетили нас здесь.

— Опять это «вы». Ведь мы уже восемь лет дружим с тобой. Я, правда, намного старше тебя, но все же не настолько, чтобы ты не мог бы говорить мне «ты».

— Иногда мне это удается, но чаще всего нет, — заметил Авала, смущаясь.

И в самом деле: было странно, что он почти всегда обращался к Левану на «вы» и лишь крайне редко на «ты». Причиной этого была необычайная застенчивость Авала, но не в последнюю очередь этому способствовал и особый душевный склад Левана, который даже близких друзей держал на определенной дистанции.

— Надеюсь, мне это скоро снова удастся, — сказал Авала с сияющей улыбкой.

— Попробуй сейчас же, — настаивал Леван.

— Ты как-то странно возбужден сегодня, — сказал Авала и повеселел.

— Ну вот, наконец-то, — с радостью заметил Леван. — Однако ты угадал: я и в самом деле возбужден сегодня.

— А что случилось?

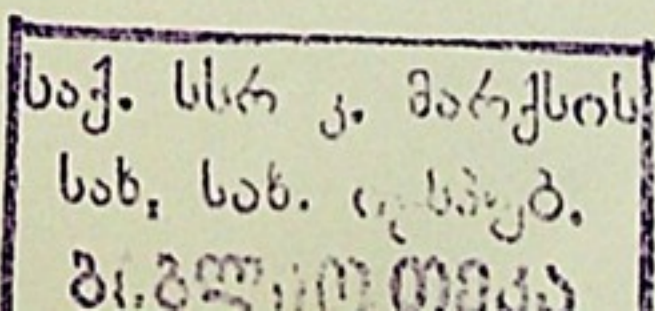
— Я заболел.

— Что с тобой? — вырвалось у Авала.

— Я заболел Тбилиси. Есть такая болезнь.

Коста — так звали гостя — с недоумением посмотрел на Левана.

— Я очень устал от этой болезни, — продолжал Леван, — и, если ты позволишь, я на часок прилягу.



— Ну само собой разумеется, — ответил Авала и повел друга в комнату.

Леван лег на широкий мягкий диван. Слава Богу, сон, этот первоисточник счастливого возрождения, пока не покидает меня, — подумал он и скоро заснул. Авала и Коста тем временем пошли на прогулку.

— Странный человек этот Леван, — начал разговор Коста. — Иногда, незаметно для него, наблюдаю за ним, и мне кажется, что он близок к безумию.

— К священному безумию, — поправил его Авала. — Он постоянно впадает в тоску, зовущую его в даль.

— Это иногда и с нами происходит.

— Разумеется, но ведь не в такой степени. Его тоска апокалипсического свойства.

— Это мне не совсем понятно.

— Он постоянно пребывает на грани бытия.

— Как так?

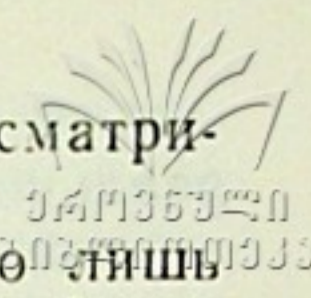
— Представь себе, что кто-то ждет возвращения возлюбленной, которую он долго не видел. Она возвращается, скажем, через три месяца после разлуки. Как примерно сложится жизнь ожидающего в этот промежуток времени? Он будет, наверное, есть, пить, спать, работать, замечать знакомых, навещать друзей — словом, он будет жить, как прежде, и все же: ничто и никто его по-настоящему не затронет. На самом деле он будет жить лишь мгновением предстоящей встречи.

— Но ведь этим мгновением он живет лишь в воображении.

— Да, в воображении, но оно от этого не менее реально. Все то, что он пережил до этого, для него дело второстепенное, ибо живет он не в этом временном измерении, а как бы скользит над жизнью, которая почти не затрагивает его. Его душа воспламенена тем нечто, которое находится где-то в далекой дали, и дышит этим нечто...

— И это ты называешь апокалипсической тоской?

— Пример этот может быть и прост, но вполне нагляден и достаточен как намек, чтобы понять всю мысль. Апокалиптик предвосхищает конец эволюции человечества и всей душой тоскует по новому миру. Ведь мир должен раз и навсегда быть исполнен, осуществлен до конца, и все события, которые произошли



или произойдут до этого осуществления, он рассматривает как нечто преходящее.

— Все преходящее для него, значит, всего лишь символ, всего лишь сравнение, как сказано у Гете?

— Да, именно так. Эти слова здесь весьма кстати. Но вечное осуществляется в преходящем, придавая ему тем самым содержание, то есть иными словами: преходящее нельзя рассматривать лишь как символ.

— Совершенно верно. Не каждому дано осуществить гармонию между вечным и его воплощением во времени. Одни в своем действенном созерцании выделяют первое, другие — второе. Между этими двумя типами людей существует множество промежуточных ступеней, которые просто невозможно перечислить.

— Итак, ты полагаешь, что, скажем, какой-нибудь цветок для Левана не более, чем символ?

— Конечно, не в такой степени, как в Апокалипсисе, но в принципе, да.

— Но я наблюдал за ним, когда он держал в руке цветок. Мне показалось, что Леван воспринимает его как живое существо.

— Я это знаю. И все же обрати внимание на нашего крестьянина Нико: как он работает во время сбора винограда. Нет сомнения в том, что сбор винограда для него реальность в самой что ни есть высшей степени.

— А для Левана?

— Для него сбор винограда, по-видимому, означает крове-носную реальность, но и еще что-то другое.

— И это «что-то другое» отличает его от Нико?

— Я полагаю, что да.

Наступила пауза.

— Теперь я понимаю, в чем заключается тоска, зовущая его в даль, — возобновил разговор Коста. — Но мне непонятно, почему она граничит с безумием.

— Ты забываешь, что он человек действия, — ответил Авала. — То, что он воображает, ему хочется пережить как реальность.

— Но ведь ты утверждаешь, что он предвосхищает увиденное в воображении, чувствуя его приближение.

— Предвосхищение действительности еще не означает действительность.

— А разве он не в состоянии осуществить это в реальной жизни?

— Для этого ему недостает той силы, которой обладали основатели религий. В этом, собственно, кроется его трагедия.

Коста задумался над последними словами друга.

— Ему, наверное, очень трудно жить, — заметил он шепотом.

— Без сомнения. Но в твердости его характера все же есть что-то положительное, хотя с ним и нелегко общаться.

— Это я могу себе представить, — сказал Коста, улыбаясь.

— Кроме того ему недостает — и как раз по той причине, что видимый им мир он переживает лишь в воображении — умиротворяющего воздействия времени, необходимого для становления характера как такового. Ведь он всегда и во всем присутствует так, как если бы был готов ко всему, к самому крайнему. Он только что сказал нам, что болен Тбилиси. Знаешь ли ты, что это означает? Эта та же болезнь, которой мы с тобой заболели в первые дни оккупации Тбилиси три года тому назад. Леван же до сих пор переживает это потрясение так, как в первые дни.

— Непостижимо!

— И тем не менее это так.

— Этот факт, конечно, многое проясняет в его характере.

— Он живет в духовном пространстве абсолюта. Преходящее, правда, остается для него действительностью, но существует под знаком метафоры, притчи. Лишь в исключительных случаях он может вдруг воспринять высшее. абсолютное в простых вещах, каковыми могут быть: камень, цветок, растение, лошадь, человеческое лицо или же какое-нибудь незначительное событие. В этих вещах он тогда видит божественный луч, полностью растворенный и олицетворенный. В эти редкие мгновения в нем происходит духовная вспышка. Нужно быть в эти мгновения с ним рядом, чтобы понять, что в этих вспышках он полностью проявляет себя, свою сокровенную суть. После этого на него находит умиротворение: он уже не так сух и суров, он даже кроток, и от него исходит мягкий свет. Прикоснове-

ние его в такие минуты действует на других исцеляюще.

Авала глубоко вздохнул. Коста увлеченно ³⁴⁹³⁵³⁴⁰ ³¹⁸⁻¹¹¹⁸¹³³ **внимал** ему.

— Но как раз в эти мгновения, — добавил Авала, — когда он весь во власти потока вдохновения, следует опасаться за его сердце.

— Как? Разве он болен? — удивился Коста.

— Нет. Чисто физически сердце у него в порядке. Это еще одна странность в нем. Очевидно, он в состоянии умиротворения бесконечно нежен, ибо он пребывает в эти минуты на последней грани бытия. Его сердце, как физический орган чувств, кажется уже неспособным вынести эту нагрузку. Во время вспышек гнева, которые случаются у него нередко, его сердце стучит, как молот.

— Невероятно!

Авала умолк. По-видимому, он исчерпал свои возможности объяснить феномен Левана Орбели.

— Я бы посоветовал ему попытаться выразить эти свои минуты озарения в поэтической форме, — заметил Коста после небольшой паузы.

— Это он и без того делает. Однако пишет он мало, во всяком случае, публикуется крайне редко. И это тоже в его натуре. Больше всего на свете он боится специализации. Знаешь, что он мне однажды сказал об этом? Рыцарь, дескать, должен помимо всего прочего заниматься и соколиной охотой. Это, мол, имеет к нему самое непосредственное отношение. Однако, если он сделает из этого занятия профессию, то он, как рыцарь, сразу же утратит что-то существенное.

Скоро друзья вернулись с прогулки.

Леван тем временем встал. Авала и Коста заметили, что он играет с Лексо, малолетним сыном садовника. Существует три вида отношения взрослого к ребенку. Первый вид, когда ребенок воспринимается взрослым как ребенок. Такого отношения дети не любят. Второй вид, когда взрослый ведет себя, как ребенок или прикидывается им. Это детям тоже не по нутру. Если же разговаривать с малышами как со взрослыми, то есть серьезно и весело, то они сразу же проникаются к тебе доверием. Леван играл с Лексо так, словно тот был его ровесником и потому очень быстро подружился с

ним. Оба вскарабкались на высокую черешню. Ребенок дрожал от страха, смеясь при этом шуткам, отпускаемым его взрослым другом. Авала и Коста были уже совсем близко, когда Леван и Лексо спрыгнули с нижней ветки черешни на землю. Лексо смеялся, пытаясь скрыть страх.

Тут же, небрежно вытянувшись, лежала большая кавказская овчарка по кличке Мура. При виде Левана она оскалилась и зарычала. Однако Леван очень быстро успокоил ее.

— Кажется, ты успел подружиться и с Мурой? — обратился к нему Авала.

— А почему бы и нет? — ответил весело Леван.

Коста был изумлен: перед ним теперь стоял совершенно другой человек.

— Он, наверно, рассказал вам немало небылиц обо мне. Он это делает с удовольствием, — заметил с улыбкой Леван, обращаясь к Коста.

— Да, рассказал кое-что, — ответил Коста, смущаясь.

Авала застенчиво молчал.

— Но только все хорошее, — добавил Коста.

— В этом я не сомневаюсь, — сказал Леван и просял.

Они сели на скамейку под зеленым шатром рехового дерева. Неподалеку играл Лексо.

— Я только что спросил Авала, почему вы так мало пишете, — осмелел наконец Коста.

— И что же он вам ответил на это?

— Что это, мол, в вашей натуре.

— Да, я действительно редко пишу стихи, так как я, наверное, не поэт.

— Вы — не поэт?

— Да, я человек, который между прочим пишет и стихи. Ничего более.

Он вдруг задумался и сказал:

— Я непосредственно воспринимаю жизнь, не творя ее. Так уж я устроен. Иногда появляются стихи, но они скорее представляют собой фрагменты самой жизни в виде молитвы или меча. Я не уклоняюсь от вещей. Большинство же поэтов делает это. Вместо того, чтобы преодолеть в себе фатальность судьбы, они уходят в воображаемый мир. Согласитесь, что это доволь-

но-таки удобный взгляд на бытие. Но бытие мстит, если не принимать его во всей всеобъемлющей полноте. Кроме того, занятие поэзией представляется мне не безопасным. Так, например, ясновидящая, делающая из своего дара профессию, кончена: однажды она увидит, что вообще уже ничего не видит, не говоря уже о предвидении.

— А как же тогда Авала? — спросил Коста.

— Для него поэзия — все. Но ведь и он мало пишет, и как раз это его спасает.

Авала сидел молча, как бы проверяя в душе правильность сказанного о себе.

— Кстати, — сказал Леван, обращаясь к Авала, — ты, должно быть, сочинил здесь новые стихи. Я почти уверен в этом.

— Да, я действительно написал несколько стихотворений, — тихо ответил Авала.

— Может быть, ты прочтешь их нам?

— Охотно, — согласился поэт и пошел за тетрадью.

Надвигающийся вечер постепенно приносил с собой покой, звуки, словно издалека, доходили приглушенными, последние лучи солнца коснулись холмов.

Появился Авала, держа в руке большую свернутую тетрадь.

— Это, собственно, цикл, который я назвал «Вечера в Окрокана», — сказал он застенчиво.

После небольшой паузы Авала начал читать. Его голос вначале звучал грубо и стесненно. Казалось, будто поэт борется со звуками. Однако внутренняя структура этих звуков была приятной и нежной. Его стихотворениям недоставало пластического элемента, и музыкальные модуляции их не отличались богатством, но зато изнутри они производили впечатление потока воды, глубокого и чистого. Коста пришел в восхищение. Леван слушал поэта, как брат: озабоченно, взыскательно. Цикл стихов идиллически охватывал воздушное пространство деревни, но вместе с тем в нем слышался и глухой, угрожающий рокот близкого города. Леван то и дело шептал про себя: «Восхитительно! Здорово! Бесподобно! Великолепно!» Ободренный и счастливый, Авала продолжал читать.

Ночь постепенно окутала холмы, и вдруг вся окре-

стность погрузилась во мрак. Мужчины расположились теперь на веранде. Они почти не разговаривали, сидя за скромно накрытым столом. Коста казался чем-то озабоченным. Отсутствующим взглядом уставился он во тьму ночи.

— Если я не ошибаюсь, вы сын князя Гиорги? — спросил Леван.

— Да, — ответил Коста.

— Я слышал о нем много граничащего с легендой. Коста промолчал.

— Я был бы счастлив познакомиться с ним, — продолжал Леван.

— Мой отец тоже, — вежливо отозвался Коста.

— И я уверен в этом, — подтвердил Авала слова друга.

Сумерки сгустились. В дневное время город не был виден из Окроканы, ночью же он легко ощущался: высоко мерцало в воздухе бледно-розовое сияние, словно умирающий свет только что закатившегося солнца на глади моря. Фантастическое видение поднималось из ущелья.

— Ты почему вдруг загрустил? — спросил Авала Коста.

— Я чувствую, что с Дата случилось несчастье, — тихо ответил Коста.

Леван вздрогнул.

Дата был братом-близнецом Коста. Оба брата как бы составляли одно существо, и никто из них не мог жить сам по себе, отдельной жизнью. Они даже письма писали вместе. Однажды у Дата, находившегося в то время в Сухуми, выпал правый глазной зуб. В это время его брат Коста, находясь в Кутаиси, потерял тот же зуб. Однажды Коста приехал в Тбилиси, и брат встретил его на вокзале. Коста начал что-то рассказывать и вдруг запнулся на полуслове. Дата закончил фразу, начатую братом. Они были так похожи друг на друга, что отличить одного от другого можно было лишь тогда, когда оба стояли рядом: черты лица Дата были немного мягче, Коста же был чуть живее. Они росли и учились вместе. Когда Коста несколько лет тому назад женился, Дата был совершенно вне себя. Он поехал в деревню к отцу, желая помочь ему, так как был агрономом по профессии.

Все это Авала теперь кратко сообщил Левану.

— Может быть, ваше плохое предчувствие обманывает вас? — деликатно заметил Леван.

— Нет, я с абсолютной точностью чувствую это.

Теперь и Леван расстроился.

— Я, к сожалению, должен покинуть тебя, — сказал он вдруг, обращаясь к Авала.

— И мне нужно домой, — сказал Коста.

— Как жаль, что вы уходите так рано, ведь еще нет и одиннадцати, — пробормотал огорченный Авала. — Но я провожу вас хоть немного.

ВИДЕНИЕ ГРААЛЯ

Они шли молча: Коста — опечаленный, Леван — погруженный в раздумье, Авала — смущенный. Дойдя до Коджорского шоссе, Леван и Коста хотели было попрощаться с Авала, но тот сказал, что хочет, мол, еще немного проводить их.

Друзья зашагали вниз по шоссе, продолжая хранить молчание. С каждым шагом перед ними все больше раскрывался город во всем своем великолепии. В ночном освещении он казался городом из «Тысячи и одной ночи». Холмогорье дремало под покровом ночи. Создавалось впечатление, что оно движется во сне...

— Эти горы и холмы похожи на буйволов, плывущих в водах всемирного потопа, — сказал мечтательно Авала.

— Великолепно! — воскликнул Леван. — Вся окрестность вокруг Тбилиси движется, как бы подхваченная и уносимая куда-то паводковыми водами.

— А буйволы, — добавил Коста, — это верное сравнение: согласно грузинскому преданию, буйвол — единственное животное, которое во время всемирного потопа осталось вне Ноева ковчега и не утонуло. Когда он глухо рычит, то издает какие-то странные звуки, напоминающие имя Ноя. Грузины полагают, что буйвол при этом действительно зовет патриарха.

Друзья повеселели. Они дошли до поворота, от которого шло ответвление в сторону ущелья, где расположен Ботанический сад, над которым печально стояли стены огромной старинной крепости.

— Ну, теперь тебе пора возвращаться ^{домой,} —
обратился Леван к Авала.

— Еще нет, — ответил Авала. — Полюб^{уемая} хоч^{ет} чуточку городом с этого места. Ведь он неописуемо прекрасен, не так ли?

Они присели на угол крепостной стены.

— Тбилиси отсюда и в самом деле необычайно красив, — заметил Леван. — Наверное, лишь с этого места и можно увидеть его невидимый образ.

Коста отчужденно взглянул на него.

— Мне кажется, — сказал Авала, — что Тбилиси образует форму креста: даже холмы здесь отбрасывают крестообразные тени.

— Это можно объяснить тем, что Тбилиси вообще стоит под знаком креста, — тихо заметил Леван.

— Как? — вырвалось у изумленного Коста.

— Нет никакого сомнения в том, что расцвет Грузии связан с эпохой крестовых походов, — продолжал Леван.

Безмолвие охватило всех.

— Представьте себе то время, — снова заговорил Леван. — В 1009 году Иерусалим взят крестоносцами. В Сирии и Палестине основываются христианские княжества. Кажется, что исламский мир окончательно повержен. Однако он находит в себе силы для отпора. Одна из таких попыток увенчалась успехом. Султан Алеппо Надим Эд-Дин Эльгас в 1119 году наносит поражение Рожеру Антиохийскому. Но этот удар оказался всего лишь рекогносцировочным, а главный был впереди.

В один прекрасный день исламский мир вдруг обратил внимание на то, что на севере угрожающе растет мощь христианской Грузии, ведомой Давидом Строителем. Вожди ислама призадумались.

Леван умолк и глубоко вздохнул.

— Итак, следует предположить, что между крестоносцами и Грузией существует тайная, пока не осознанная, связь, — сказал Авала полуутвердительно, полувопрошая.

— Да, я чувствую это, — сказал Леван тихо, но твердо. Затем он продолжил свой рассказ. — Было решено немедленно устранить опасность, исходившую с севера, чтобы достичь конечной цели — изг-

нания крестоносцев. В 1121 году на юге Передней Азии была собрана шестисоттысячная армия мусульман. Сельджуки, туркмены и арабы, предводительствуемые все тем же Надим-Эд-Дин Эльгасом, выступили на выносливых лошадях в поход против Грузии. Грузинский царь приготовился к сражению. Он имел обыкновение чеканить свое имя на монетах то как «слуга Христа», то как «меч Христа». Теперь он был лишь мечом. Но как противостоять такой силе? В его распоряжении было всего лишь 60 000 вооруженных всадников. К тому же Тбилиси в то время все еще был в руках арабского эмирата, а сельджукский султан Тогрул, точно хищник, подстерегавший грузин, был потенциальным союзником вторгшейся армии.

Трижды два больше, чем дважды три. Эту тайну подсознательно чувствовали все настоящие полководцы. И великий Строитель чувствовал ее. Он решил превратить движение в энергию, чтобы сбалансировать неравные силы. О фронтальной атаке на врага не могло быть, конечно, и речи, тем более об окружении огромной армии. И царь до предела поднимает мобильность своего немногочисленного войска, причем как в наступлении, так и в обороне: оно могло, искусно отражая атаки противника, перемещаться то на левый, то на правый фланг. Для прикрытия тыла в большом лесу были устроены заграждения. Там в засаде сидели лучники, стрелявшие без промаха. Вражеская армия расположилась в долине Дидгори. Это как раз и было на руку царю, изучившему все окрестное холмогорье до мельчайших деталей и для любой возможной позиции боя.

Сражение начал Строитель. Он выпустил несколько колонн на вражеский фланг, имитируя наступление. Неприятель, рассвирепев, ответил немедленным выступлением, но атаковавшие его грузины вдруг исчезли. Мусульмане оторопели. Давид Строитель повторил свой маневр несколько раз, теперь уже со всех сторон, и каждый раз нападавшие ускользали от противника. Разъяренного, сбитого с толку неприятеля тормозили со всех сторон, не давая ему прийти в себя. И вот наступил решающий день, день 14 августа. И снова царь начал бой. Каждая часть его войска действовала так, будто была предоставлена самой себе, и все же действия всего войска координировались и направля-

лись волей полководца, стремлением к победе, неделимой и непостижимой, вселившейся в сердце каждого воина-грузина. Все было рассчитано на отчаянный риск, на единственный благоприятный момент, который нельзя было упустить. Внутренняя опора огромной вражеской армии, расшатанная невиданной энергией небольшого грузинского войска, вдруг рухнула. Силы царя, державшего под рукой отборную конницу, с каждым часом возрастали. Великая битва, значение которой для всего христианского мира невозможно переоценить, была выиграна. Гений одного человека победил силу множества. Переднеазиатская армия мусульман повернула вспять и обратилась в бегство. Грузины преследовали ее до Анчи, где она была почти полностью уничтожена. Раненный в голову Надим Эд-Дин Эльгас с остатком разбитой армии бежал. После этого был освобожден и Тбилиси, а Ани присоединен к Грузии.

Леван рассказывал сдержанно, но с внутренним пламенем. С увлечением слушали его Авала и Коста, хотя им многое уже было известно об этой великой битве.

— Так повествуют грузинские летописцы, — заметил Коста.

— И армянский летописец Маттеос Эдесский, — добавил Авала.

— Точно так же и ассириец Абу-ль-Фарадж, и арабы Ибн Аль-Адир, Кемал Эд-Дин, Ибн Хальдун, — сказал Леван и продолжил после небольшой паузы, — но лучше всех описал день 14 августа канцлер Антиохийского княжества Готье Норманн в своей „*Bella antiochica*“.

Богиня истории Клио осенила мужчин своими легкими крылами, и образы далекого прошлого с тихим шелестом воспарили над городом.

— Теперь мне понятно то, что когда-то сказал мне мой отец, — прошептал через некоторое время Коста. — Давид Строитель был признанным соратником крестоносцев.

— Совершенно верно! — с воодушевлением подтвердил Леван. — В 1109 году, 30 июля Париж получает из Иерусалима от кантора Священного гроба Анзеллуса крест, на котором нашел свою мистическую смерть Спаситель. Какая чудесная неожиданность для

всей Франции! Крест в исключительно торжественной обстановке был установлен в базилике, в простой моделине, на месте которой позднее будет воздвигнут знаменитый кафедральный собор Нотр-Дам де Пари. Крест получил название Крукс Анзелли. Почти семь веков он хранился под сенью Божьего храма. В 1793 году Нотр-Дам был разграблен и осквернен. С тех пор о судьбе этого креста ничего не известно.

Помолчав немного, Леван продолжал:

— Этот крест крестоносцы получили из Грузии.

Авала и Коста были потрясены этим сообщением.

— Сам Анзеллус свидетельствует об этом, — продолжал Леван, — в своем послании к архиепископу Парижа Галлону и архидьякону Стефану, в котором он, в частности, сообщает, что получил этот крест от вдовы Давида, царя Грузии. Эта деталь, возможно, и не соответствует истине, но она в общем-то дела не меняет. Факт остается фактом, что крест появился из страны Давида Строителя. А вот как оцениваются заслуги самого царя Давида в этом послании: «Далее Давид, царь Грузии сам владел сим крестом, пока жив был, в великом благоговении пред ним и блаженстве, тот самый Давид, который, равно как и его предшественник, укрепил и охранял порты Каспийского моря, там, где заперты Гог и Магог, где сейчас на страже и его сын, страна которого есть для нас бастион, преграждающий к нам путь мидийцам и персам».

Леван перевел дух и продолжал:

— Можно ли еще выразительнее определить всемирно-историческую миссию Строителя: «Его страна для нас есть бастион»? Потом эти таинственные имена: Гог и Магог, словно руны, указующие на зловещие духовные силы, которые еще ждут своего мифологического истолкования. Да, я провозвещаю: Грузии предстоит, находясь между Гогом и Магогом, выдержать страшное, невиданное испытание, которое я пока не могу назвать с достаточной определенностью!

Леван умолк. Он весь дрожал. Казалось, что историческое величие Грузии прошло через сердца троих грузин.

Вдруг заговорил Авала:

— Недавно мне сообщили из Парижа о том, что там найдено послание одного крестоносца к архиепис-

копу Безансонскому Амадею. Это послание не датировано. Однако, принимая во внимание, что Амадей был во главе епископата с 1195 по 1220 годы, можно утверждать, что послание это было написано в этом промежутке времени. В своем послании рыцарь пишет следующее: «Грузинское войско победоносно прошло через всю Переднюю Азию, взяв триста крепостей и девять городов. Сын царицы Тамар, прекрасный юноша, побуждаемый горячим стремлением исполнить сокровенное желание своей покойной матери освободить Иерусалим, в данный момент продвигается сюда во главе великого войска. Войско везет с собой бранные останки его матери, царицы Тамар».

Леван закончил рассказ. Авала и Коста сидели не шелохнувшись.

— Восхитительная легенда! — прошептал Коста.

— Да, легенда, но в ней больше реальности, чем в каком-нибудь историческом факте, — тихо сказал Леван. — Это легенда, творящая действительность. Она возникла из сокровенного желания крестоносцев. Вот такая это легенда.

Мужчины направили свои взоры налево, в сторону Дидубийской церкви, где семь веков тому назад светозарная царица справляла свою свадьбу. Город осенен образом Тамар, — подумал Леван. Он почувствовал, как в глубине его души что-то пришло в движение.

— Тбилиси и в самом деле находится под знаком креста, — заметил Авала.

— Вспомним и о кресте святой Нино, который хранится там, — тихо сказал Авала и вытянул руку в сторону кафедрального собора.

Леван вздрогнул. Теперь он уже не принадлежал самому себе. Казалось, что он полностью растворился в мгновении, но не теряясь, а увековечивая себя в нем. Несколько недель тому назад его посетило видение, которое он выразил в стихотворении, впервые воплотившем в слове увиденное им. Второе видение посетило его сейчас. Он порывисто поднялся и начал напевать стихотворение, тут же обретавшее окончательную форму. Его голос звучал так громко, что в наступившей тишине был слышен далеко вокруг. В это время запоздалый крестьянин проезжал мимо них на арбе. Он остановился, прислушиваясь к импровизации Лева-

на. Трое парней, направлявшихся в Тбилиси, тоже ое-
тановились. Леван продолжал петь, не замечая их.
Слова его стихотворения звучали, как шелест крыльев
птицы в чаще леса. Мало-помалу в ночном мраке стал
вырисовываться образ:

На краю пропасти стоят последние рыцари в окру-
жении оруженосцев. Они твердо решили умереть, но
не сдаться врагу. Как реликвию, несли они с собой
крест из виноградной лозы, скрепленный прядью волос
святой Нино. Когда мужчины уже приняли решение
броситься в пропасть, в последнее мгновение малень-
кая плачущая девочка случайно коснулась ручонкой
креста, и тут на глазах у всех высохшая лоза расцве-
ла, и вот уже на ней созревают золотистые гроздья. И
воины, потерявшие было всякую надежду на спасение,
обретают сверхчеловеческую силу и становятся непобе-
димыми.

Так начиналось стихотворение. Леван продолжал
петь:

Рыцари собрали сок чудотворного винограда в Ча-
шу по примеру Иосифа из Аримафен, так хранивше-
го капли крови, пролитые Спасителем на Голгофе. Ры-
цари привезли эту Чашу домой. Был создан тайный ор-
ден Чаши, подобной Священному Граблю. На протяже-
нии веков Чаша переходила из рук одних ее храните-
лей в руки других. В Чаше хранилось сердце, солнце
Грузии. Хранители Грааля защищали родную землю.

Леван пел в упоении. В качестве припева слышал-
ся зов: «Где ты, теперь, Чаша, где ты?»

Авала и Коста восприняли видение на грани бы-
тия и небытия. Сам город, раскинувшийся внизу, пред-
стал перед ними, словно видение. Высоко над ним свер-
кнули на миг лучи в виде скрещенных мечей, несущих
прозрачную Чашу. Уже в следующий миг видение по-
гасло. Леван стоял безмолвно, ощущая себя одним из
тех лучей. Божественное слово было произнесено. Все
трое молчали. Вдруг на повороте дороги раздался не-
приятный смех.

— Где ты теперь, Чаша, где ты? — передразни-
вал один из трех парней Левана. Это, по-видимому,
были молодые большевики.

— В кабачке Питнава, — язвительно ответил ему
второй парень.

— Ха-ха-ха, хи-хи-хи! — хохотал, держаеь за живот, третий.

Левану показалось, будто кто-то нанес ему страшный удар в спину.

Авала и Коста тоже были ошеломлены. Парни не унимались. В другой раз Леван непременно поколотил бы этих наглецов, но на сей раз это было почему-то невозможно. Он, обычно крепкий, как сталь, теперь вдруг весь обмяк. Он оглянулся. Одного из парней он узнал.

— Пойди к своему отцу и расскажи ему все, — тихо сказал ему Леван.

— Ему так же мерещится вчерашняя Грузия, как и вам в ваших бреднях, — нагло ответил ему парень.

— Пошли прочь отсюда, порождения змеи! — кричал вдруг старый крестьянин на обнаглевших парней и замахнулся на них топором.

Парни испуганно переглянулись. Никто из них уже не проронил ни слова. Присмирив, они быстро удалились.

— Ох, эти уроды! — пробормотал крестьянин и продолжил свой путь.

Леван, Авала и Коста долго смотрели ему вслед.

— Нет, не погибла Грузия, — сказал Коста.

— Конечно, нет! — ответил Авала.

Леван еще долго не мог прийти в себя. Гнетущее молчание продлилось еще некоторое время.

— Теперь ты, наконец, пойдешь домой? — обратился Коста к Авала.

— Нет, — ответил он, — сегодня я не могу остаться один. Я переночую у тебя.

— Хорошо, тогда мы проводим Левана до его дома, — предложил Коста.

И трое мужчин направились в город. Они шли безмолвно, как тени. При прощании Авала робко спросил Левана:

— Это вы сочинили? — Он имел в виду легенду, только что симпровизированную Леваном.

— Нет, я это просто вижу, — ответил Леван уверенным, идущим из далекого неведомого мира, голосом.

КНЯЗЬ ГИОРГИ



Предчувствие не обмануло Коста. Дома его ждало письмо от Дата, которое повергло его в уныние. Брат писал, что отец опять заболел, и что он хочет сказать им обоим что-то очень важное. О чем хотел поведать им отец, Дата не сообщил в письме. По всей вероятности, он этого и сам не знал. Боль пронзила сердце Коста: не было ли это желание отца продиктовано предчувствием его скорого конца? И Коста решил немедленно отправиться в Саирме.

Князь Гиорги был известен во всей Грузии как личность, овеянная легендами. Он происходил из знатного и знаменитого рода владетелей Аргвети, который оказал вторжению Мурвана, полководца калифа Омара, упорнейшее сопротивление. Братья Давид и Константин, аргветские князья, погибли в этой борьбе мученической смертью. Когда у князя Гиорги родились сыновья-близнецы, он решил назвать их в честь тех героев. Он гордился своим старинным благородным родом. О князе Гиорги рассказывают, между прочим, следующее: как-то царское правительство решило присвоить представителям грузинской знати, в том числе и князю Гиорги, какие-то титулы. Узнав об этом, князь Гиорги сказал: «Какой титул может присвоить мне русский царь, которым я не обладал бы уже с восьмого века?»

В лице князя Гиорги грузинская нация нашла свое наивысшее воплощение: высокого роста, сильный, широкий в плечах, тонкая талия, красивый орлиный нос и медового цвета глубокие спокойные глаза, каштановые волосы, как бы прилипшие к породистому черепу. Нежная и необычайно чистая матовая кожа лица его казалась прозрачной. Все в нем растворялось спокойных движениях. Его походка была мягкой и пружинистой, но в то же время и твердой. Манеры выдавали в нем человека, привыкшего повелевать. Глаза оставляли необычное впечатление: они спокойно сияли из глубины и взор их скользил над вещами. Ему уже исполнилось 67 лет, но чисто внешне он, одухотворяясь, становился с каждым годом все прекраснее.

Образование он получил в Европе и в совершенстве владел английским и французским языками. Кро-

ме того, он говорил по-немецки, по-русски и по-арабски. Однако его родной, настоящей стихией был, конечно, грузинский язык, которым он владел, как поэт. Иногда он писал стихи. Он любил повторять, что рыцарь должен чувствовать себя в поэзии так же уверенно, как в седле. Князь Гиорги был страстным поклонником лошадей, характер которых распознавал с первого взгляда. Он превосходно держался в седле, но не как жокей, о котором он говорил, что тому, мол, недостает в осанке чувства хозяина, господина. Его пристрастие к лошадям можно было сравнить лишь с любовью к соколам. Он до мелочей знал их нрав и сущность соколиной охоты: ведь когда-то при грузинском дворе существовало целое министерство по соколиным делам. Европейскую литературу он знал так же хорошо, как и древнейшие источники Востока.

Ему не раз предлагали титул предводителя дворянства, но он всегда отказывался от него, говоря, что дворянства как такового уже нет, ибо оно утратило свою рыцарскую миссию. Это было сказано жестко, но вполне искренне. Свои большие поместья он еще до начала первой мировой войны раздарил крестьянам, объяснив это тем, что они ему, мол, уже не нужны. Он оставил себе менее 80 гектаров земли. Между тем по своим убеждениям он вовсе не был демократом, как полагали многие. В 1901 году грузинская общественность отмечала столетие со дня присоединения Грузии к России. Он был возмущен до глубины души, когда ему сообщили, что он назван в числе членов комитета, которым в торжественной обстановке надлежало явиться перед русским царем. Он говорил, что Россия предала Грузию и что праздновать это предательство он, дескать, не может.

У него были и свои, особые взгляды на судьбу Российской империи. Русские цари, заявлял он, всегда допускали одну и ту же ошибку: вместо того, чтобы создать Священное Восточное царство, они неизменно стремились к тому, чтобы сколотить империю на необъятных просторах. Однако они не обладали и не обладают необходимым для этого даром: ни даром римлян, ни даром британцев. В рамках такого Священного царства Грузия, как христианское государство, нашла бы свое достойное место. Когда-нибудь эта извечная

ошибка русских царей скажется роковым образом — это он тоже говорил не раз. Недальновидные политики расценивали это его убеждение просто как революционное. Он всегда улыбался, когда ему говорили об этом.

В своем поместье он жил замкнутой жизнью гран-сеньора, углубившись в летопись Грузии. В этих анналах история представляла собой подлинное воспоминание. Это обстоятельство делало счастливым каждого, кто умел читать. Нечто глобально-таинственное кроется в них, — думал князь Гиорги. Возможно, здесь лежит ключ к разгадке универсальной тайны. Ведь на грузинской земле до сих пор живут древнейшие предания.

Князь Гиорги много путешествовал, стремясь проникнуться духом прошлого. Он посетил Индию, Египет, Иран и Европу. Самая большая тайна для него заключалась в слове Бог. В Европе его потрясло изречение мастера Эккехарта: «Хотя он и есть нечто совершенно иное, нежели я, он все же намного ближе мне, чем я сам». Это изречение было для него исчерпывающим определением божественной сути. На границе Индии и Ирана он однажды встретил паломника.

— Что ты ищешь? — спросил его князь Гиорги.

— Бога, — ответил паломник.

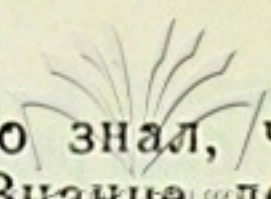
— И ты приблизился к нему?

— Чем дальше я уйду в своих поисках, тем больше удаляюсь от него.

— И все же ты продолжаешь искать?

— Я, правда, удаляюсь от него, но зато он приближается ко мне.

Эти слова заставили князя Гиорги глубоко задуматься. Он почувствовал исходившее из неизмеримых глубин явление Бога. Он углубился в философию Востока. Сравнивая ее с духовной жизнью своей родины, он с изумлением и радостью обнаружил, что у грузин было немало общего с теми мыслями и идеями Востока, которые так потрясли его. Он пытался прочесть почти стертые потоком времени руны. Легенды, мифы, культовые обряды, фрагменты эпосов и даже человеческие характеры — все это возвращало его к первоначальному знанию, которое он, опираясь на корни родной земли, вбирал в себя как свой собственный опыт. Одно он все-таки упустил, вероятно, по причине своей



аристократической небрежности. Он хорошо знал, что знание само по себе не есть еще благо. Знание должно зародиться и расти в человеке изнутри: то есть стать неотъемлемой частью бытия. Знание сокровенных тайн без незамедлительного претворения их в жизнь может поставить под угрозу саму жизнь. Что случилось бы, например, с собакой, если, пущенная по следу, она не применяла бы свое чутье, а удовлетворилась бы знанием того, что обладает им?

Эта беда, распространившаяся особенно в Европе, не просто была известна князю Гиорги: она угрожала и ему самому. Когда однажды молодые художники в его присутствии заспорили о сюрреализме, он, задумавшись, сказал им: «Мои дорогие юные друзья, существует степень зрелости, когда уже не считаешь нужным сделать еще что-то». Наверное, никакой поэт не выразится лучше о сюрреализме.

И все-таки нечто такое, что можно было бы назвать умиротворенностью в последней инстанции, пока не доставало князю Гиорги. Несмотря на внутреннюю уравновешенность, у него все же довольно часто случались вспышки. Будучи солнцепоклоинником, он умудрялся время от времени впадать в глубокую меланхолию. Это особенно заметно стало проявляться в нем в последние годы. Что-то зловещее в виде черного угрожающего призрака представлялось его внутреннему взору, которое, появившись, тут же расплывалось в неопределенности. Это была смерть. Она являлась то в виде мысли, разлагающей все сущее, то как острая боль, пронзавшая тело. Страх охватывал его тогда, но он еще был в состоянии противостоять ему.

В такие минуты он испытывал невыносимое страдание, пребывая на границе между Богом и небытием; и, несмотря на то, что Бог олицетворял для него высшую реальность, он, к своему ужасу, не раз чувствовал, как он у него на глазах беспомощно таял в личине небытия.

Вместе со старостью пришли и болезни. С горечью он замечал, как его силы с каждым днем убывали. В довершение ко всему его постигло страшное горе: несколько лет тому назад его старший 35-летний сын Реваз, подозреваемый большевистской властью в участии в заговоре, был арестован и вскоре после этого рас-

стрелян. Старый князь не мог оправиться от этого удара, тем более, что сын удивительно во всем походил на него. С тех пор он продолжал жить, но как тень самого себя, сознавая свое бессилие, готовясь к смерти.

Иногда князь Гиорги заглядывал в стоявший особняком шкаф. В нем хранилась реликвия, которую ему завещал его отец с напутствием: «Храни ее по-рыцарски. Она должна выдержать испытание временем». Он хранил эту реликвию с благоговением, ибо в ней было символическое сердце Грузии. Однако вторая часть завета не была им исполнена. Это бесконечно терзало его. Может быть, возложенная на него отцом миссия была ему не по плечу? Однако он был уверен в обратном. Тем мучительнее были угрызения совести. Ему казалось, что он в чем-то изменил завету отца, будь то из небрежности или из боязни ответственности. Да, именно изменил. Так кому же передать, кому доверить эту святыню перед тем, как уйти из жизни?—спрашивал он себя постоянно. Может быть, сыновьям-близнецам Дата и Коста? Возможно, он имел в виду именно это, говоря, что хочет о чем-то поведать детям, как это писал Дата в письме к брату?

РАДОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

На другое утро Коста и Авала прогуливались по проспекту Руставели; Коста — терзаемый ощущением беды, Авала — озабоченный. Походка друзей выдавала немую печаль. В это время здесь встречались и праздничношатающиеся горожане, чтобы поболтать «минутку», которая иной раз растягивалась на несколько часов, и порадоваться друг другу. На перекрестке вдруг показался поэт Одилиани. Он с радостным лицом поспешил навстречу друзьям. Однако они не столь радостно, как обычно, ответили на его приветствие. Одилиани, почувствовав недоброе, озабоченно спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Князь Гиорги заболел, — ответил Авала.

— Надеюсь, несерьезно?

— К сожалению, да, — вырвалось у Коста.

Все трое молча пошли дальше.

— Коста уже через час выезжает в деревню, — сказал Авала.

— Давайте поедem все вместе! — предложил Одилиани.

— Вот было бы чудесно! — сказал Авала.

— Мой отец очень обрадуется вам, — отозвался Коста.

Друзья направились в кафе, расположенное возле здания театра. Одилиани был явно озабочен тем, чтобы сделать друзьям что-то приятное. Он принадлежал к тому типу людей, которые уже при первой встрече покоряют сердца. Ему в высшей степени была свойственна жизнерадостность, которую он, однако, умудрялся проявлять с небрежным спокойствием. Он был высок ростом, мужествен, необыкновенно вспыльчив и до безрассудности смел. Он близко знал многих и почти со всеми дружил. Глаза его сверкали, как у сокола, его лоб еще не был изборожден морщинами забот. Веснушки на его лице казались каплями солнца. Он был предрасположен к полноте, что раздражало его. Над своим носом он сам любил подшучивать: «Торчит, как картошка». Все, за что он брался, давалось ему легко. Однажды вечером он появился на очередном заседании Союза писателей навеселе: наряду с музами он приносил добровольные жертвы и Дионису. Словом, он был в приподнятом настроении. Однако он внезапно помрачнел, бросился на улицу и крикнул: «Выглянь, Чека! (гамо чека)». Здание ЧК находилось рядом. Его, конечно, тут же арестовали. Охваченные страхом, сидели в это время его друзья в Доме художника. Через полчаса он вернулся и спокойно сказал: «Я все свел к пустяку, объяснив им, что сказал не гамо чека (выглянь Чека), а гамочека (высидела птенцов)». Все весело рассмеялись. Дар ясновидения, которым он обладал, граничил в нем с безошибочностью звериного чутья. Он писал легко, почти без усилий. Стихи его были прозрачны и беззаботны, будто сотканы из солнечных лучей.

— А почему бы нам не взять с собой несколько друзей? — предложил вдруг Одилиани, повернувшись к Коста. — Я, правда, не уверен, что князь будет в состоянии...

— ...принять столько гостей? — дополнил Коста.

— Да.

— Пусть это тебя не беспокоит. Он еще может принять 15—20 неожиданных гостей. Следует лишь подумать, не повредит ли ему это в его теперешнем состоянии.

— Это можно сделать очень просто, — сказал Одилиани. — Ты сообщишь нам телеграммой, приезжать нам или нет.

— Согласен, — ответил Коста и простился с друзьями.

Авала и Одилиани стали думать о том, кого взять с собой к князю Гиорги, ибо встреча эта должна быть очень торжественной. Одилиани и тут оказался на высоте, ибо он немедленно составил список. Однако возникла заминка, связанная с тем, что решили пригласить и троих актеров, которые превосходно пели. Заминка же заключалась в том, что актеры эти были заняты в спектакле, и освободить их на ближайшие несколько дней мог лишь главный режиссер Марджани, а с ним было не так легко договориться.

— Я все же попытаюсь уговорить его, — сказал с улыбкой Одилиани.

Авала посмотрел на часы: они показывали половину второго. В это время Марджани обычно сидел в кафе. И в самом деле: он появился через некоторое время в сопровождении нескольких сотрудников. Одилиани и Авала громко приветствовали его и пригласили к своему столу. Режиссер заказал бутылку коньяка и яичницу с ветчиной. Несмотря на свои пятьдесят с лишним лет и заметную полноту, он выглядел довольно молодо. Его лицо светилось изнутри. Казалось, что он сгорал от внутреннего огня. Это был гений без каких-либо определенных талантов. Он жил мгновением. Понятие вечности было ему чуждо. Этим объяснялись его причуды и внезапные вспышки гнева. Первое было ребяческим свойством, второе говорило о его властной натуре. Он находил себя лишь тогда, когда встречал преграды на своем пути. Сегодня он был не в настроении. Он работал над драмой, которую хотел написать как героическое действие, но столкнулся с почти непреодолимыми препятствиями.

— Невозможно, просто невозможно, — бормотал он про себя, глядя перед собой отсутствующим взглядом.



— Что невозможно? — скромно спросил Авала. Марджани быстро объяснил присутствующим суть дела.

— Но ведь вы влюблены в невозможное, — вставил Одилиани, прислушиваясь к начинающемуся душевному волнению режиссера.

Марджани и в самом деле оживился. Улыбка появилась на его лице.

— Как испанец, не так ли? — спросил он.

— Совершенно верно, — подтвердил Авала.

— А если уж испанец влюблен в невозможное... — весело продолжал Одилиани.

— ...то для него нет ничего невозможного, — закончил режиссер фразу.

— Вот именно, — подтвердил Одилиани.

Марджани уже был воодушевлен. Одилиани почувствовал, что благоприятный момент наступил.

— Так выпьем же за это! — воскликнул он, поднимая полный бокал. — За невозможное.

— За преодоление невозможного! — дополнил Марджани.

— Да будет так! — слышалось со всех сторон.

Наступила пауза. Одилиани понимал, что сейчас нельзя было ни мешкать, ни торопиться, иначе можно все проиграть.

— Тогда я должен вас попросить о невозможном, — обратился он к режиссеру.

— Что? — Марджани насторожился. Он уже чувствовал, что оказался в ловушке, но она была так искусно подстроена, что вся эта игра забавляла его.

Одилиани высказал свою просьбу.

— Немедленно изменить программу! — приказал режиссер своим сотрудникам.

— За здоровье Марджани! — воскликнули Одилиани и Авала.

— Да здравствует Марджани! — откликнулись со всех сторон.

— А вы уверены, что актеры захотят поехать? — спросил режиссер через некоторое время.

— Я ни секунды не сомневаюсь в этом, — ответил Одилиани. — Я знаю, что от участия в подобных торжествах они никогда не отказываются.

— Было бы чудесно, если бы и вы могли присоединиться к нам, — почти умоляюще прошептал Авала.

— Это было бы славно, тем более, что я давно мечтаю познакомиться с князем Гиорги. Но, к сожалению, у меня теперь слишком много неотложных дел.

Оба друга поблагодарили режиссера и простились с ним. Сначала они пошли в театр. Актеры, о которых шла речь в кафе, с радостью согласились поехать к князю Гиорги. Затем они отправились в Дом художника. В пути они встретили Левана, который тоже принял их предложение. Однако он потребовал список приглашенных, который он внимательно прочел.

— Вот этого надо вычеркнуть, — сказал он, показав пальцем на одно имя, указанное в списке.

— Почему? — спросил Одилиани удивленно.

— У него нет ни капли солнца в крови.

— У тебя что, есть аппарат, с помощью которого ты это можешь научно установить? — спросил Одилиани. Он был единственным среди друзей Левана, кто мог с ним говорить таким тоном.

— Я знаю это и без всякого аппарата, — отрезал Леван.

— Но ведь у него есть внутренний огонь, — попытался возразить Авала.

— Но огонь этот влажен.

— Влажен? Что за басни ты нам здесь рассказываешь? — возмутился Одилиани.

— В этом ты ничего не понимаешь. Настоящий огонь сух. Я терпеть не могу эту банную духоту.

— Однако его часто видели воодушевленным, — осторожно защищал Авала отсутствующего.

— Это просто очередной приступ истерии.

Все поняли, что Левана нельзя переубедить, и имя этого человека было вычеркнуто из списка. Леван ушел. Он обещал встретиться с обоими друзьями вечером в театре. В Доме художника и в редакции Одилиани и Авала встретили несколько человек, которые должны были поехать с ними к князю Гиорги. К вечеру все были оповещены, а ночью пришла телеграмма от Коста: «Добро пожаловать!». Все были несказанно рады предстоящей поездке.

Через несколько дней они уже были в пути. Всего собралось 12 человек, среди них художник по име-

ни Вано и Сандро по кличке Молчаливый, неразлучный друг поэтов, воспринимавший кавказский танец, как стихотворение.

Поезд шел с опозданием, и лишь к вечеру они прибыли на станцию Риони. Коста и Дата уже стояли там с несколькими лошадьми, запряженными в повозки. На перроне стояло довольно много пассажиров из Кутаиси, ожидавших поезда из Батуми. Среди них были знакомые и друзья. Каждый спешил в столицу по очень важному и срочному делу. Однако, когда им было предложено присоединиться к приглашенным, лишь немногие отказались. Большинство решило, что лучше отложить или даже оставить дела, чем упустить такую возможность. Приглашение приняли: Одишели, мужчина за пятьдесят с черепом Цезаря и с постоянной улыбкой царедворца на губах, знаток литературы и живописец; Мзисавар, пчеловод, блондин в возрасте 65 лет, с иронией во взгляде, прошедший всю свою жизнь в Грузии и скитающийся от двора ко двору, знающий множество басен и историй, которые он рассказывал, как Гомер; Хыдыр, мужчина за пятьдесят, обладавший необыкновенной силой, спокойный и преданный, с двусмысленной улыбкой, как бы говорящей: «Если хочешь, сразимся с тобой»; Мушни Дадиани, мужчина 37 лет, сильный, стройный и гибкий, с повелительно-небрежными манерами, но без малейшей навязчивости, венец старинного генеалогического древа; молодой танцор Карангоси, собранный, весь как бы высеченный из мрамора и, наконец, молодой летчик по имени Закара.

Было уже 9 часов, когда все отправились в путь: кто в упряжке, кто верхом, а кто и пешком. Был тихий майский вечер. Во всей процессии царило веселье. Можно было подумать, что люди шли на свадьбу. Мало-помалу ночь окутала холмы и деревни. В надвигающейся мгле перед взорами гостей шаг за шагом вырастал княжеский замок, расположенный на холме, запиравшем равнину. Словно крепость, простирался он в небо, погруженный в безмолвие, как бы прислушиваясь к самому себе. В одной из его комнат горел слабый свет. В половине двенадцатого гости прибыли в замок.



После завтрака, прошедшего под открытым небом, Коста повел гостей к отцу. Замок представлял собой большое двухэтажное сооружение. Первый этаж был возведен из камня, второй — из дубовых стволов. Князь Гиорги жил на втором этаже, в большой светлой комнате, напоминавшей залу.

— Добро пожаловать! — раздался голос хозяина замка. — Прошу извинить меня, что принимаю вас в постели.

— Мы надеемся, что вы скоро поправитесь, — наперебой сказали гости.

Коста представил каждого гостя отдельно, после чего они сели на некотором расстоянии от больного, образовав полукруг. Одишели, Мзисавар, Хыдыр и Даднани уже были знакомы с князем Гиорги. Старый князь приветливым взглядом окинул гостей.

— Я вижу седину в твоих волосах, Мамиа, — обратился он к Одишели. — Давно, значит, мы с тобой не виделись.

— Да, к сожалению, это приходит с годами, — заметил Одишели. — Между прочим, говорят, что на седых снисходит благодать Белого Георгия.

При упоминании Георгия Победоносца лицо больного озарилось.

— А ты, Мзисавар, — сказал князь, — совсем не изменился.

— Хотя я и не происхожу от княжеского рода, но моя родословная восходит к солнцу, — сказал в шутку пчеловод. — Ведь мое имя называет меня его сыном¹.

Эта умная шутка развеселила князя. Гости все тоже весело смеялись. Хозяин дома познакомился с каждым новым гостем, задушевно беседуя с ним. С писателями разговор давался ему легче, так как он знал некоторые из их произведений. Глядя на гостей, он вдруг вспомнил слова Гете: «Из каждого образа струился свет чистого бытия». Особенно понравился ему Леван,

¹ Мзисавар — буквально: «Я принадлежу солнцу» (груз.).

который сидел чуть поодаль, углубленный в себя, но не замкнутый. Князь чувствовал это. Он видел также, что от лица этого человека исходила какая-то необычная сила. Не от внутреннего ли напряжения она? Князь Гиорги украдкой наблюдал за ним.

Художник Вано с восхищением разглядывал стены комнаты. Построенные из толстых балок, они были обиты изнутри тонкими дубовыми досками. Их мягкий коричневый цвет доминировал в помещении. В комнате, казалось, что-то росло, невидимо, бесконечно медленно. Солнце освещало комнату через большие, широкие окна. Все здесь было пронизано, все дышало его лучами.

— Эти стены просто чудесны, — сказал Вано, — особенно — освещенные солнцем.

— Дуб — любимое дерево солнца, — вырвалось у молчавшего до сих пор Левана.

Все недоуменно переглянулись.

— Дуб, солнце и змея мистически родственны между собой. Друиды почитали растение, которое, словно змея, обвиняет дуб, — пояснил князь.

— Дуб — любимое дерево грузин, — продолжал Леван. — Аргонавты похитили золотое руно (у нас это, собственно, баран) с нашего священного дуба, в ветвях которого оно висело.

Он хотел сказать еще что-то, но в это время в комнату бесшумно вошли три женщины. Все почтительно встали. Несколько секунд не было слышно ни звука.

— Моя супруга, моя дочь, моя невестка, — представил женщин князь Гиорги.

Гости приветствовали хозяек замка, затем сели на свои места.

Супруга князя, женщина лет пятидесяти, с благородными чертами лица и спокойным взглядом, была вся сдержанное достоинство. Ее дочери, необычайно красивой девушке с неестественно тонкими чертами лица, не было и восемнадцати. Невестка — блондинка немногим старше двадцати лет, высокого роста, стройная, с красивыми точеными руками, ее иззелена-голубые глаза глядели словно из другого мира. В ее облике сочетались обаяние и сдержанность. Мужчины, как

зачарованные, смотрели на женщин, особенно на невестку князя. Все молчали, немного смущенные и растерянные.

— Норина — шведка, — сказал князь Гиорги, показывая на невестку. — Она вдова моего Реваза.

Упоминание имени расстрелянного сына князя еще больше углубило молчание.

Леван был очарован. Он никогда не сомневался в том, что на любом лице можно уловить скрытый и неповторимый лик, отражающий внутреннюю сущность человека. А на лице молодой вдовы божественный луч нашел свое полное воплощение.

Шведка своими светлыми доброжелательными глазами встретила направленные на нее взгляды мужчин. Увидев Левана, она вздрогнула в изумлении; ей показалось, будто что-то из прошлого потянулось к ней. Но уже в следующее мгновение она пришла в себя.

Постепенно гости и хозяева разговорились. Через некоторое время женщины вышли из комнаты, и гости стали с интересом осматривать интерьер. Все здесь мерцало матовым золотом: кровать, шкафы, книжные полки. Некоторые выдвижные ящики шкафов были сделаны из пурпурной ивы, другие из дерева с красной сердцевиной, не подверженной гниению. На круглом столе, покрытом стеклом, лежали опалы, изумруды, топазы, рубины, сапфиры, черные алмазы — целая груда драгоценных камней. С восхищением рассматривали мужчины эти благородные камни, называемые по-грузински «глазами». Это и в самом деле были глаза, смотрящие на мир. В каждом из них была схвачена волна бытия, словно луч солнца в кристалле.

Леван стал объяснять присутствующим свойства каждого камня.

— Коста! — позвал князь сына. Коста подошел к отцу. — Я хочу встать.

— Отец! — озабоченно предостерег сын отца.

— Не бойся, я чувствую себя уже лучше.

Продолжение следует

Перевод с немецкого Сергея ОКРОПИРИДЗЕ

В мастерской художника

На петушинный хвост похожи кисти.
Как гусеницы, тубики лежат.
Заря вечерняя, как раненая птица, —
в береговой тростник лучи летят.
И входят в комнату дороги, словно люди,
и греются у золотых стогов,
костров, изображенных на картинах...
Как карты тайные, мерцают на стенах
признанья, страсти, мысли, сожаленья...
Душа художника — словно гигантский лист,
в углу которого — душа волшебных красок, —
бесплотная, прозрачная душа...
Она сама — и зрение, и око,
она в себе вмещает слух и ухо,
в ней цвет живет, не требующий красок,
и объяснение вещей необъяснимых.
Цвет размышляет, думает, смеется,
и плачет, и шумит, и не шумит, —
в нем слышно лишь дыханье тишины.
Стоит там хаос темный, первозданный,
кипящий и клубящийся туманом.
Теперь я повимаю, что природа
в шедевре каждом делает скачок.
Скелетом света мастерская эта
мне кажется,
страною чудных снов...
Наполнена она подводным миром,
в ней — философия великой тишины.
Здесь падают божественно минуты,
как с дерева познания — плоды.
Здесь вечность бесконечная струится,
сжимается она в единый миг.
Затем мгновенье, растворяясь в цвете,
космическим становится опять.

Соединилось временное с вечным
и постоянное совпало с быстротечным.
Мысль и видения опережают время,
мечты здесь сбросили действительности бремя.
Рождение мысли — как паденье звезд...
Стремится творчество взойти на звездный мост...
И трепетно постигнуть совершенство,
чтоб в вечности узнать мгновения блаженство,
чтобы мгновенье в вечность развернуть
и до конца пройти судьбою данный путь.

Старые дубы

Дубы могучие росли на берегу Риони.
Веками сквозь пласты земли шли вековые корни.
Похожи были деревья на предков гордой статью —
и землеша, и бойца мог среди них узнать я.
За скудной трапезой они в тени дубов сидели
и отдыхали от трудов здесь, в травяной постели.

Да, выкорчеваны дубы на берегу Риони.
Топор жестокий подрубил нам вековые корни.

Две зарисовки

Прыгал лай из оврага в овраг.
А трусливое эхо бежало трусцою
и тащило молчания хвост за собою,
как лиса, что в испуге ныряет во мрак.

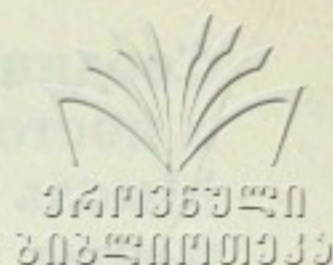
*

Огни уже мерцают там и тут.
Из хвороста костры повсюду жгут.
Луна раскрылась, словно парашют.
Лазутчиками сумерки ползут.

* * *

Норы, птичьи гнезда разоряют,
по миру зверей и птиц пускают
люди, продолжая грех творить, —
догонять, пугать, стрелять, ловить.

Всюду, вечно, каждую минуту
кто-то причиняет боль кому-то.
Помоги же ближним, человек,
чтоб не скоротать впустую век!



Аплодисменты

Аплодисменты—королям,
героям,
палачам,
поэтам.
Аплодисменты — вратарям,
и клоунам — аплодисменты.

Так пошутил мудрец,
ошибшийся однажды:
— Провидца кто рискнет
приветствовать отважно?

* * *

Я ветви сплел —
орешником зеленым,
как шапкою, одета голова.
Я, как тропинка, вниз бегу по склонам.
Блестит на солнце сочная трава...
Хоть жажду утолил, но пью горстями
прохладу чистых горных родников.
Каштан шуршит
шершавыми листьями—
осенний ветер
их сметет с холмов.
Я на вокзале свой багаж оставил,
и палку чудную
я выстрогал в лесу...
Подернулись осенней дымкой дали...
Куст держит крылья,
как наседка, на весу,
укрыв грибы, подобные дыплятам, —
коричневые влажные маслята.

* * *

Так много дел сотворено хороших,
Так много слышно добрых голосов!
О Боже, дай мне видеть мир подольше,
участливых побольше слышать слов.
Но вижу я: считают правду ложью,
уродство называют красотой.
Возьми мой слух и зрение, о Боже,
чтобы не видеть этот мир пустой!

* * *

Зачем меня ты любишь, ангел мой?
Ведь я — всего лишь человек земной.
Куда девала ты свой нимб и крылья? —
Они когда-то ангельскими были.

Твое лицо подобно фреске древней.
Зачем, скажи, ты ангельство отвергла?
Ты вечный грех смогла на душу взять.
Что я могу взамен тебе отдать?

* * *

Вновь журавли кружат, над крепостью летят —
на каменных стенах передохнуть хотят.

Вы навестили вновь покинутое место —
на плач похожий крик вернулся с вами вместе.

И не понять: то стонут журавли —
иль войны, что в битве полегли.

* * *

Невидимых дорог переплетеньем
на сеть похожа наша жизнь.
Мы ловим смерть рождением.

И в вечном поиске невидимых путей
стремимся выбраться
из жизненных сетей.

Но если ты поистине велик —
в сетях невидимых запутаешься вмиг.

Чего же хочешь ты от нас, рыбак?

Перевод Людмилы БУКИНОЙ

Белая лошадь



Сорок третий. Ноябрьская ночь под Курском,
Над воронками стылый туман курится.
Немцы слышат шорох в окопе русском,
Наши слышат шепот в траншее «фрица».

Опаленный кустарник в горелых травах.
Рыжеватые взгорки в ночи огромны
И в тумане движутся, как вороны,
Разжиревшие тут, на полях кровавых.

Перестрелка ночная в туманах лога.
Но, едва поутихло земли дрожанье,
Стук копыт приблизился издалика
И прорезало темень глухую ржанье.

В эту полночь, освистанную металлом,
Заявилась откуда кобыла-белянка?
Ни узды, ни седла. Только в отсвете алом
Пламенела на белом кровавая лямка.

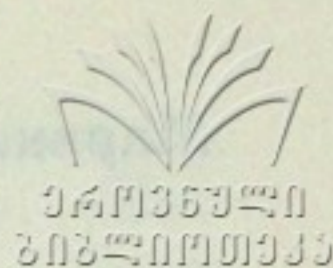
Голос лошади полнился мукой земною,
Человечьим страданием, дикой отвагой.
Тень ее, увеличенная луною,
Орошала окопы горячею влагой.

За собой оставляя кровавые тропы,
Кобылица светилась над грязью и прахом
И вставала во мраке, как образ Европы,
Одичавшей, ослепшей и загнанной страхом.

Так корябали душу надрывные звуки,
Что стонали солдаты, привычные к бою,
И, стремясь прекратить лошадиные муки,
Те и эти в беглянку стреляли порою.

Был у нас старшина, сын кубанских раздолий, —
Он извелся совсем, дрожь чубастого била,
Все кусал свой кулак и не чувствовал боли:
«Отпусти, капитан: грех — страдает кобыла!»

...На рассвете упала. И, будто бы разом,
Потемнело недвижимое белое тело.
Перемену заметил наметанным глазом
Старшина и решился на трудное дело.



К мертвой лошади он подобрался по балке.
Долгоногого, мокрого взял жеребенка
И пронес на руках по сожженной «нейтралке»,
Как надежду на завтра, как свет, как ребенка.

Я доньше не ведаю имени чуда,
С той загадкой, верно, и землю покину,
Но — молчали траншеи врага! И оттуда
Почему-то не грянуло выстрела в спину.

Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА



Три новеллы

Призраки отчего дома

Был полдень, когда женщина и мужчина вышли сельским проулком к трухлявому забору и, одновременно остановившись, опустили наземь туго набитые чемоданы. Пот росой выступил на их усталых лицах, ладони — в мозолях от ручек чемоданов.

Женщина была маленькая, исхудавшая. Она едва доставала мужчине до плеча. Светло-каштановые волосы, золотившиеся на солнце и собранные на затылке смешно вздрагивавшим хвостиком, казалось, принадлежали скорее девчужке. И ее скорее можно было принять за дочку нежели за жену.

Они стояли бок о бок, скрестив руки на груди, и немигающими глазами всматривались в дом, утопавший в зарослях крапивы. Двери и окна его были заколочены досками.

Женщина беспомощно взглянула на мужчину, схватив его руку, обвила ею свою шею, уткнулась лицом ему под мышку и заплакала.

Он не вымолвил ни слова и еще крепче прижал по-детски доверчивую жену.

Затем, все так же не говоря ни слова, усадил ее на чемодан, выбрал из забора длинную палку и посек крапиву, росшую от калитки... Потерев обожженные до волдырей руки, подхватил чемоданы и повел сгорбившуюся жену по вновь проложенной тропинке.

* * *

Затхлый запах стоял в доме. На стенах, разрисованных плесенью, кое-где поблескивали перламутром следы прилипших слизней и остатки паутины.

...Позже, все еще всхлипывая, женщина вынесла во двор отсыревшую, в черных пятнах постель. «Вот на этой тахте спали мы с бабулей... А на той — дедушка...»

— Мать с отцом совсем не помнишь? — спросил мужчина, пытаясь открыть стоящий в углу сундук с заржавевшими скобами.

— Ну, откуда... я ведь была очень маленькая... Ты чего смеешься?!

— Твои?! — мужчина выложил из сундука стареньких куколок с головками из пуговиц, обшитых лоскутками, и посмотрел на жену.

— Ой, куклы,.. мои куклы!..

Ресницы ее внезапно задрожали. Подбежав, она оттеснила мужа и неловким движением вырвала их у него.

— Мои куклы... Мои куклы, — снова заплакала женщина.

* * *

Мужчина довольно долго смотрел на жену, игравшую, как ребенок, тряпичными куколками, покрытыми крапинками сырости... как вдруг почувствовал удивительное отчуждение и одновременно почтение к той, которая делила с ним постель. И понял: она, едва достававшая ему до плеча, в чем-то превосходила его.

На закопченной стене, местами исполосованной потеками просочившихся дождевых капель, трепетали черные тени, выстраиваясь друг за другом, перепутывались, иногда угрожающе сливаясь воедино...

Мужчине показалось, что эти призрачные стены, изъеденные молью дырявые занавески, куклы с тряпичными головками и даже жена скрывали от него какую-то тайну и готовились, как только он уйдет, разом зашептать, заговорить.

Потом его охватила ярость: они не доверяли ему, не приняли его... Тут все вещи, все до одной, знали же-ну еще до него... Знали и любили...

...И из-за этой любви он готов был возненавидеть ее: ведь она любима еще и другими, и не безответно...

Ревность поселилась в комнате... Ревновали стены, куклы и... муж...

Его сознание работало, как маслобойка. Все смешалось: незащитность, страх, ревность, ненависть.

Потом прояснилось... И ему страшно захотелось покорить сердца этих насупившихся вещей, еще не утративших тепла женских рук, и, самому прикоснувшись, добавить тепло рук своих.

* * *

Посреди сада мимо грушевого дерева протекал ручей. Он сворачивал в сторону и, крадучись, тек вдоль забора.

Обильно уродившиеся груши созрели так, что помягчели даже черенки. Одни россыпью валялись в русле ручья, заваленном щебнем, другие попадали в траву.

Мужчина коленом попробовал трухлявые ступеньки лестницы, приставленной к стволу, осмотрел ее. И, примостившись, присел, равномерно распределяя тяжесть тела. Закурил.

Женщина вновь замелькала видением в саду: то обламывала проросшие у забора стебли омелы и, очищая, жевала их, то перебирала пальцами торчащие обрубки, бывшие когда-то виноградными лозами.

...Мужа больше не удивляло, что жена забыла о нем, она как бы переселилась во времена, когда еще не знала его.

Видя, что ему нет места в ее размышлениях, мужчина опять ощутил свою ненужность, но огорчение в душе сменилось сочувствием к ее потерянности.

Наконец она очнулась, подошла вплотную к мужу и вскинула покрасневшееся лицо; на миг в ее глазах мелькнули заросшие крапивой дом и двор, и мужчина отвел взгляд в сторону.

— Я во всем виновата, — сказала женщина.

— В чем?!

— В этом запустении...

— Одна ли ты?.. — спросил он.

— Да...

— А я?!

Она ничего не ответила.

Он обнял ее своими большими руками и нежно

прижал к широкой груди... Душа ее облегченно рас-
прямлялась — тяжесть вины разделилась меж ней и
мужем поровну.

ЭЛНННННН
ЭЛНННННН

* * *

...Как птица, темнота распустила крылья во всю комнату...

Лежа в постели лицом к мужу, едва уместившемуся на своей половине, женщина, беспрестанно моргая, терла бессонные глаза. Он спал с приоткрытым ртом, выпростав из-под одеяла мускулистые плечи, скрестив на груди руки.

«Лежит как покойник...» — ее сердце тоскливо сжалось. Несмело придвинувшись, прислушалась к его дыханию и разняла его руки.

Муж не шелохнулся.

...И вдруг непонятный страх схватил ее: «Может, он умер... Нет! дышит... Да, но ничего не чувствует?! Живой труп!.. А может, не спит и ждет, пока засну,.. чтобы задушить!.. Но зачем, за что?.. Глупая... С ума сошла, о чем я думаю... Фу, какая глупость!..»

Она снова прилегла. Зажмурив глаза, не сбиваясь, досчитала до ста. Один раз, второй, третий... Все равно не спалось...

...Опять повернулась к мужу...

«...Не такая уж глупость... Зачем ему душить меня? — а вот зачем... Он может и не хотеть моей смерти... Может, и не думает удавить... Просто полюбопытствуется, как это я стану помирать... Что же делать?.. Закричать?.. А интересно самой почувствовать, как умирают... Наверное, так...»

Она подняла руки, растопырила пальцы, медленно-медленно двинула их к горлу и...

А-а-а... Ладонями она зажала рвущийся из горла крик...

И долго, завернутая в одеяло, потрясенная страхом, бежала от собственных рук и пыталась унять безумный крик...

Тишину нарушал лишь ропот ручейка, бежавшего в глуши сада...

Приютившись в родительском доме, мнившемся ей журджином, перекинутым через седловину матери-зем-

ли, она украдкой сквозь отверстия дырявых занавесок вглядывалась в окрестности.

— Один, два... десять... — снова принялась считать женщина, и ей почудилось, будто, позвякивая ключами, шествует ее роковая память катакомбами мозга, отпирая двери темниц страшным призракам далекого детства...

— Один, два... десять... — на каждый счет возникали привидения.

...И, как бывало в детстве, ей захотелось заскрипеть кроватью, громко закашлять, застучать ногами и, чтоб убедиться, что никого нет, заглянуть под кровать...

Она вглядывалась в обтрепанные, уродливые видения с зияющими ранами и думала, что, может, и они остерегаются и страшатся смотреть друг на друга...

...И, зажмурив от ужаса глаза, поняла и на этот раз не удивилась, почему люди много скрывают друг от друга...

* * *

«...В кровати металась девочка с пунцовым от жара лицом. Она сбросила со лба смоченную в растворе уксуса тряпицу и застонала.

В головах на деревянной табуретке сидела сгорбленная старуха. Она глядела неподвижно на сложенные в подоле руки.

— Болит что-нибудь, детка? — шевельнулась старая. Просунула руку под одеяло и погладила ноги больной. — Господи, какая ты горячая... Есть не хочешь?.. Поешь что-нибудь, дочка, всю ночь у тебя живот бурчит.

— Не хочу!.. — девчушка растерла слезу.

— Может, пить хочешь?

— Нет!.. Бабуля, а смерть — она какая?! Моя мама сейчас у смерти?.. А?. Смерть потом не отпустит маму к нам?..

Старуха оцепенела. Она растерянно повела глазами, словно просила помощи у кого-то. В дальнем углу комнаты заскрипела тахта, слышался сдавленный храп мужа.

— Что мне сказать ей, старый, ответь... — прошептала она.

— А, бабуля?!



— Нет, внучка...

— Если она не отпустит ее одну, пусть сама с ней приходит... — закапризничала девочка. — А потом мы не отдадим ей маму...»

— Один, два... десять... — снова начала счет женщина, закрыв глаза.

«...С тех пор, как помер твой дедушка, я сутками глаз не смыкаю, детка, боюсь... Только настанет ночь — стоят в окнах покойники в белых саванах: твой отец, мать и дедушка. Машут мне руками. Прилягу, встану, выйду во двор, а их нету. Теперь вот издалека зовут... Бегу к ним, сломя голову...»

Все кажутся мне они, внучка, кажутся... Уж не черти ли завелись в доме? Меня совсем не боятся... Забирай своего мужа и приезжайте сюда вдвоем. Мне одной страшно, всего боюсь... Схожу днем на кладбище, посмотрюсь на их могилы и жутко становится... Не знаю, внучка, отчего... Вернусь домой и опять все думаю о них, думаю, как ненормальная. Наверное, эти мертвецы-горемыки сами себя боятся — даже такое пришло на ум...»

Женщина присела, сдавила голову руками. Острая боль пронзила все тело.

— С ума сойду... — прошептала она.

Опять легла...

«...В гробу лежала покойница в черном... Разбитое лицо ее покрывал белый мокрый лоскут. По рукам, скрещенным на груди, было видно, что ей уже много лет.

— Бабуля, любимая моя... — женщина билась головой о край гроба.

— Грош цена твоей любви!.. Бейся головой, плачь, может, оживет, — ядовито прошептал кто-то из соседей.

— Тсс-с-с... Тихо ты...

— Пусть услышит, доведется ли еще случай ей высказать... Зять-то ни разу не удостоил несчастную посещением...

— Даже сейчас не соизволил заявиться, болен, видите ли...

— И что ей нужно было на той скале в полночь?..

— Умом тронулась, бедненькая, этого следовало



ожидать... Должно быть, снова явились усонище — дочь с зятем да муж; жаловалась очень... Юшка за ними, вот и сорвалась со скалы...»

...Черная птица в комнате медленно сомкнула распахнутые крылья...

* * *

...У четырех могил, сровнявшихся с землей, стояли женщина и мужчина...

— Бабуля, я пришла!..

— Мы пришли!.. — сказал мужчина.

...С тернового куста лениво взлетел соглядатай-ворон. Долго кружил на месте. Каркнул напоследок застывшим в молчании супругам и, хлопая крыльями, потерялся вдали...

Голубая мечта

...В простой железной кровати с облупившейся местами краской лежал в горячке парень и думал лишь о том, что нет у него ни стыда, ни совести и он так по-хамски обошелся с этой маленькой женщиной.

...На грязноватом табурете, бывшем когда-то, надо полагать, белым, сидела маленькая женщина с глазами цвета темной хвои, крепко стиснув ладошки и зажав их тощими коленями, отчего руки ее покрылись бледно-голубыми рубцами вен. Из-под беспорядочно рассыпавшихся волос она безмолвно разглядывала парня и удивлялась тому, что на свете так много хороших людей, а она влюбилась в этого, бесстыжего и бессовестного.

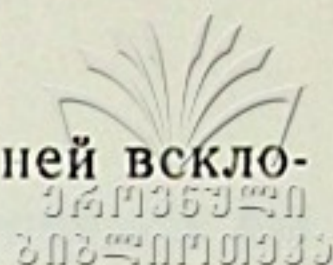
...Потом маленькая женщина плакала. и парню было очень жалко ее, жалко до брезгливости...

«Если я сейчас же не скажу хоть что-нибудь, она уйдет, оставит меня одного, — в сердце парня закрался страх. — Она хоть и маленькая, но сердце у нее большое».

— Приласкай меня, — попросил он.

Маленькая женщина боязливо привстала и при-

жалась щекой к его груди, слезой смочив на ней всклокоченные волосы.



— Кроме тебя, никого у меня нет, — он плавно погрузил руку в гущу ее каштановых волос, потом заглянул в ее зеленые глаза, полные слез, и увидел в них заходящее солнце.

— Не покидай меня, — взмолился он.

Маленькая женщина долго смотрела на безумный страх, метавшийся в его глазах, и почему-то вспомнила преступника, который походя зарезал невинного человека, как свинью, а сам потом, оказавшись перед лицом правосудия, дрожа от страха смерти, умолял подарить ему жизнь.

На женщину разом навалились брезгливость и сожаление. И брезгливость эта заполнила всю комнату, каждый закуток в ней.

...Маленькая женщина сидела и думала только о том, что человека этого, без стыда и совести, разлюбить, оказывается, гораздо труднее, чем совестливого; бессовестный потому и бессовестный, что не позволит так легко забыть себя...

...Зажмурившись и сжав до покраснения в своей ладони женскую ручку, маленькую и белую, парень подумал, что до сих пор и не знал, какие у нее теплые руки и глаза красивые, как морские камешки, влажные и пестрые... Думал и о том, что так бессовестно обманывал ее, а она обо всем догадывалась... Потом вспомнил и о том, что эта маленькая женщина с отзывчивым сердцем могла покинуть его, оставить одного, однако не уходила, хотя рядом с ним ее большая душа опустошалась, как яйцо, выпитое летучей мышью...

«От этой малюсенькой ручки исходит столько тепла, что хватит всему человечеству, — удивился парень. — ...Но это тепло — только мое. Пусть даже сгорю, обуглюсь, и тогда ни с кем не поделюсь...»

— У меня ведь, кроме тебя, никого нет... — притянул он к себе женщину.

Она заглянула ему в глаза и вместо страха увидела голубую мечту... Маленькая женщина улыбнулась, и юноша приметил, как в ее зрачках разгоралось огненное солнце...

Письмо



Недавно мне приснился удивительный сон... По дороге шли я и ты, тесно прижавшись друг к другу. Хотелось идти в ногу с тобой, а выходило вприпрыжку, зайчиком.

— Люблю тебя, — горячо выдохнул ты над моим ухом.

«Если отважился сказать такое, значит, больше не любит...» — подумала я.

— О чем задумалась? — спросил ты.

— О золотом медальоне, что на мне, — ухаживать за ним надо, натирать почаще, иначе он не будет блестеть.

— Люблю тебя, — еще крепче привлек ты меня.

— Мне кажется, будто в руке у тебя склянка, полная целебного напитка любви; но как мне, недужной, излечиться, глядя на нее издалека...

Сказала ли я это вслух? Нет, только подумала...

— Моя ты пташечка, маленькая, малюсенькая, вот такая, — ты показал мне кончик ногтя на мизинце.

— А пташки зимой в теплые края улетают, — я только остерегла тебя...

...Потом я сидела под цветущим деревом. Какое это было дерево, не помню. Одно меня удивило: как оно могло зацвести в таком холоде? Я ждала тебя...

Кто-то приблизился; долго смотрел на меня, приподнял мне подбородок, впился взглядом и дал пощечину. Одну... Вторую... Стал нещадно бить меня. Я упала, он пинал меня ногами... Что со мной случилось!.. Ненасытный, он бил, пока не сровнял меня с землей.

Я не кричала, лишь пыталась прикрыть свою наготу изорванным платьем и... ждала тебя.

И появился ты.

— Помоги, — вслух или про себя позвала, не помню... Кажется, вслух, ведь ты побежал ко мне...

Пряча избитое лицо, я пыталась пальцами скрепить на теле кусочки разодранной ткани.

Я глянула на того, со скрещенными на груди руками, и в душе пригрозила ему — сейчас увидишь!..

Он подошел и снова дал пощечину.

Ты отвел его в сторону и сказал: «Постеснялся бы бить женщину...»

Поднявшись, наконец, с земли, прихрамывая, я старалась идти ровно. Смущаясь, я стала рядом с тобой, прижалась к тебе...

Ты поежился, посмотрел на мужчину и отошел.

Он смерил тебя долгим насмешливым взглядом и спросил: «Ты ей кто?»

Ты ему ничего не ответил, опустил голову... Он опять долго смотрел на тебя, потом подошел ко мне и ударил.

— Не бей ее, она же женщина, — попросил ты.

Он посмотрел на тебя и ухмыльнулся.

Потом вдруг растаял на глазах и встал стеклянной стеной меж нами.

Я поняла, сама действительность предстала в лице мужчины... Я глянула сквозь стекло и... увидела...

Ты стоял и считал на моем побледневшем лице красные следы пощечин...

Пусть даже во сне, но я не могу тебе простить взгляда мужчины...

Прощай...

Перевод А. КОЗЫРЕВА



Из цикла „Ностальгия“

* * *

Божественная музыка Россини
Над морем, над качающейся синью,
Над солнцем — красным, сводом — голубым
Лебедушкой белой проплывает,
Все черное с души моей смывает,
Себя я ощущаю молодым.

Всего семь дней осталось до отъезда,
Кончается, увы, моя сиеста,
Опять Париж, Нью-Йорк и ближний бой.
Божественная музыка Россини
Над пляжем желтым. Ну, а я — в России.
Всем сердцем там. И всей моей судьбой.

Сант-Максим, 15.08.86

* * *

Напротив балкона застыли три пальмы,
Лишь только когда ветерок налетит,
Я слышу их шепот: «С чего ты печален,
О чем ты вздыхаешь, заморский пиит?»

Ну что мне ответить красавицам местным,
Поднявшимся гордо над морем седым?
К тому ж, год назад отвечал, им известно,
Что горько живу, только Богом храним.

Александр ГЛЕЗЕР, поэт, прозаик, публицист, издатель двух журналов, глава издательства «Третья волна», а кроме всего этого — пропагандист творчества современных русских и грузинских художников, уже давно живет за рубежом. До отъезда из СССР его стихи и переводы стихов его друзей, грузинских поэтов - шестидесятников, постоянно печатались в «Литературной Грузии». Сегодня мы вновь предоставляем страницы нашему давнему другу, который, приехав на родину, конечно же посетил Тбилиси.

Я знаю, скривится в усмешке неверья
Какой-нибудь хлыщ из парижских болот
И скажет надменно: «Опять о Рассее
Сейчас наболтает, не верьте, соврет».

Не спорить же с ним, если мерит других он.
На свой эмигрантский короткий аршин.
Ему б кейфовать — хорошо бы с чувихой,
Да хлеба и зрелищ, да розовых вин.

А если вдобавок немного и славы —
Чего же еще в этой жизни желать?
Смотрю я на пальму, которая справа,
И вижу — старается что-то понять.

Как странно и больно, что пальмы чужие
Скорее поверят, чем люди свои.
Их предки познали болезнь — ностальгию
В пустынных краях Аравийской земли.

Спустишь я в ночи, постою под балконом,
К стволу чужеродному нежно прижмусь.
Весь мир мне открыт. И Париж, и Верона,
Нью-Йорк и Триеста свободная зона,
Захочется — в Токио завтра помчусь...
К тебе ж навсегда лишь в глухих сновиденьях
Могу забредать я бесплотною тенью,
Земля моя, мать моя, бедная Русь...

Остров Поркороль, 25.08.87

* * *

Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

Н. Гумилев

Как будто это сказано сейчас,
Как будто это сказано про нас —
Ах, мог ли ведать, будучи в России,
Что мне достанет видеть, как вокруг
Знакомые все лица — только вдруг
Друзей как нет... А были. И какие...

Перелопатил, перемолотил
Рациональный Запад наши души.
Не дышится... О, Боже, от удушья
Спаси меня. Уж не хватает сил

Глядеть, как спесь тут подменяет честь,
Как с молотка достоинство спускают,
Богатством похваляясь... Как тут лесть
С угодливостью вместе расцветают.

Ну, ты ведь там свободой рисковал,
За веру и за истину радея.
И не пугал тебя лесоповал,
И чертовой Лубянки лиходея.

А тут закис и голову склонил,
Поешь хвалу вполне недоброй силе.
И ты... И ты... Какой же мор скосил
Порывы душ и пообрезал крылья?..

Когда бы знал, когда бы ведать мог —
Остался бы в России, видит Бог,
С душой. неуязвленной доньше,
И все-таки еще мне повезло —
С пути не сбился, с горечи не спился
Завистникам неистовым назло.

Ментон, 23.08.88

Зарисовка

Молния — за молнией, молния — за молнией,
Словно злые стрелы воинов Чингис-хана.
А громов не слышно — полное безмолвие,
Страшное безмолвие. В темном небе странно

Бродит одинокая, как овца заблудшая,
Маленькая звездочка между туч могучих.
Море, час назад еще буйволом ревущее,
Затаилось, замерло — чудится, как будто



საქართველოს
ლიტერატურის
აქადემია

Насмерть перепугано. Молния — за молнией,
Молния за молнией пролетает яростно.
А вокруг безмолвие, гулкое безмолвие,
Словно бы знамение молодого августа.

Прамуске, 3.08.88

* * *

Fransois Gaume

Здравствуй, друг мой, синеглазый Прамуске,
Целый год тебя не видел, не слышал.
Одиноко, словно волк, я жил в тоске.
Ни стихов, ни даже песен не слагал.

Наконец-то снова встретился с тобой
И как будто возрожденный, воспарил.
Возвратились ко мне воля и любовь,
И Мерани вновь полетом одарил.

И опять поет стихия для меня
На родном моем, на русском языке,
И сильнее становлюсь день ото дня
Я с тобою, друг любезный Прамуске.

Волховство ли, волшебство ли — не пойму:
Возрождаюсь вновь и снова только здесь.
До чего ж отрадно сердцу моему,
Что в чужой земле родное место есть...

Пойте, волны, пойте мне о ямщиках,
О Москве и о цветаевской Оке.
Коль на Западе умру, то горький прах
Разметай, жена моя, над Прамуске.

Прамуске, 7.08.88



Повесть о Бахмаро, о Батуми, о том, как украли любовь

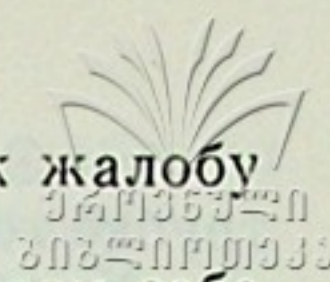
Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. И человек вряд ли остается таким же, каким был год, пять, десять лет назад. Особенно это касается женщин.

Встречаются старые друзья, хлопают друг друга по плечам, радостно восклицают: «Э, да ты совсем не изменился, ты такой же — вот и глаза того же цвета, волосы, выражение лица...» На самом же деле, встретившись, они просто заново ищут друг друга, ищут хоть что-нибудь, отдаленно напоминающее того человека, который по-прежнему живет у них в сердце — и радуются, радуются мелким, мельчайшим совпадениям, обнаруженным у постаревшего друга.

Разные случаются встречи — встречаешь человека через год, два, пять лет и внутренне сжимаешься от боли при взгляде на него, видя, как он изменился, замечая новые морщинки, а самое страшное — замечая, как тухнет у него взгляд, как расползается и живет в нем язва смирения и усталости.

Случаются, конечно, и приятные исключения. Среди твоих знакомых есть люди, которые с каждой встречей как бы обновляются — становятся лучше, умнее, красивее и обаятельнее — тогда сам ты тоже стараешься подтянуться, не ударить в грязь лицом.

Ника не любил всякого рода встречи со школьными друзьями. Его класс, насколько он знал, собирался уже три раза, и каждый раз он уклонялся под разными предлогами, так как даже случайно, мимоходом встречая в городе бывших одноклассников и одноклассниц, он испытывал тягостное чувство боли и разочарования, глядя на них, замечая застывшую у них в гла-



зах грусть и сквозившую во всех их разговорах жалобу на неудачливость.

Он часто ездил в командировки, мог даже сам себе их выписывать — в самые разные города и уголки страны — и поэтому все три раза, заранее зная сроки проведения встреч, он брал командировку и уезжал из города.

Изменились так, конечно, не все. У Ники был давний школьный друг Темо Джорджадзе, с которым ему всегда приятно было встретиться, — и возвращаясь из очередного странствия, он обязательно заходил к «Джоррике». Были еще несколько старых приятелей, которых он встречал с охотой. Но все-таки, в основном, люди в сорок лет уже остро ощущали собственную несостоятельность и при встрече со школьными приятелями открыто на это жаловались.

Вот совсем недавно перед его поездкой в Ленинград Нике позвонил один из них — позвонил, собственно говоря, совсем не думая с ним встречаться. То, что Тато сошел с рельсов, Ника знал уже давно. В свое время он, имея прекрасных родителей — чудесную, трепещущую над сыном мать и отца, которым можно было гордиться — ничем особенным из класса не выделялся, разве что был, может быть, чуть-чуть более сердечным и отзывчивым, чем остальные. Потом у Тато умер отец, а Ника тогда же перешел в другую школу, и на какое-то время они потеряли друг друга из виду. Встречая потом Тато, Ника все больше и больше поражался происходящим в нем переменам — тот становился каким-то не в меру наглым, пропала и былая сердечность, вместо нее появились сомнительные деловые качества — и наконец его арестовали за какое-то мошенничество. Вышел он на свободу через несколько лет — Ника узнал это совершенно случайно, когда к нему зашел сосед и, долго извиняясь, сказал, что у него одолжил деньги якобы на какую-то срочную покупку его школьный товарищ Тато Кереселидзе — одолжил и до сих пор не вернул. И вдруг как будто прорвало — оказывается, Тато обошел не только соседей Ники, но и его родственников и знакомых, кого он только смог найти. Брал немного — десять, пятнадцать, двадцать, пятьдесят рублей... Перед самой поездкой Ники в Ленинград он неожиданно позвонил:

— Это квартира Ники Мачабели? — раздался в трубке голос.

Конечно, Тато никак не ожидал застать его дома, он уже знал, что Ника по десять месяцев в году не бывает дома, и сейчас звонил с явным намерением еще раз взять «взаймы» у его родных.

— Это я, Ника, — ответил он, узнав Тато по голосу. — Здравствуй, Тато, рад тебя слышать. Что тебе надо?

Тато секунду молчал, потом отозвался и попросил встретиться с ним на Руставели, возле метро. С тяжелым сердцем Ника отправился на свидание. Когда-то красивое лицо его одноклассника было изрядно опухшим, видно от частой выпивки, мокрые от пота волосы прилипли к высокому лбу, а в глазах застыла печаль и какая-то внутренняя тревога. Они разговаривали недолго, и Ника все ждал, когда же Тато перейдет к «основному» вопросу. Наконец на прощание тот не сдержался:

— Ника, — сказал он, — я, конечно, понимаю, что никогда не верну тебе долг, я не такой человек, но дай мне еще, дай хоть немного. Ты знаешь, я наверное покончу с собой, я так не могу. Я понимаю, что всем надоел, но вы все устроились, вам хорошо, вы все счастливые люди... У меня тоже когда-то было все, а теперь меня все бросили. Я не могу без выпивки, понимаешь, а денег у меня нет.

Ника дал ему денег, и Тато сразу ушел.

...Потом он рассказал об этой встрече Джорджадзе. Услышав имя Тато, Темури даже покраснел.

— Да, — сказал он возмущенно, — тебе еще повезло. Ты представляешь, Тато не обошел стороной ни одного из наших. Ладно, если бы он был аферистом и сволочью и делал гадости всем подряд, но выбрать мишенью своих же одноклассников, рассчитывая на их жалость...

— А если его подлечить? — спросил Ника.

— Подлечить! Ты же знаешь его мать, как она с ним мучается. Два раза пыталась его вылечить! Пустой номер.

— Ладно, хорошо. Я думаю, не очень большой грех совершил, что дал ему деньги.

— Деньги? Конечно, нет. Но мне стыдно, понима-



ешь? Просто стыдно, и я ему так и сказал, чтобы он нас не позорил и убирался на все четыре стороны.

— Ладно, поговорим о чем-нибудь другом, — перебил его Ника...

...Он как раз вспомнил сейчас почему-то встречу с Тато и этот разговор с Джорджадзе и снова погрузился в переживания, когда его вывел из задумчивости повелительно-жесткий женский голос:

— Нет, извините, я вам покупку оформлять не буду, понимаете? Не буду, потому что такой станции нет. Я, между прочим, тоже профессионал, у меня дома диплом лежит, если хотите знать.

Это обращалась к нему женщина—представитель Лентрансагентства. Он подошел к ней полчаса назад, чтобы оформить покупку и транспортные документы на перевозку купленного этим утром рояля, который он собирался переслать своей дочери в Павлодар. И вначале у них будто бы все шло как по маслу,—они улыбнулись друг другу дежурными улыбками, Ника отдал ей чек на покупку рояля фирмы «Бернштейн» и попросил оформить пересылку, она любезно взяла документы из его рук, — а через пять минут началось.

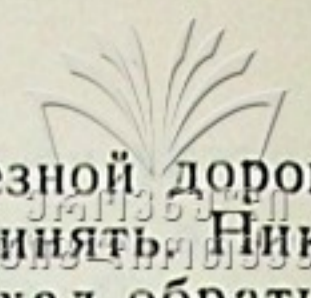
Вначале она предложила ему переговорить с бригадиром складских рабочих, которые выносили рояли из магазина и конкретно занимались погрузкой.

— Зачем? — спросил Ника. — Ведь деньги я плачу в кассу.

Она посмотрела на него внимательно, как на маленького ребенка.

— Я только забочусь о ваших же интересах. Не хотите — пожалуйста...

С тех пор прошло уже полчаса, а она все не могла найти в своих талмудах нужный параграф, согласно которому его рояль можно принять в грузовую отправку. В конце концов Нике надоели все эти пустые разговоры, — он вышел из магазина, взял такси и поехал в главное управление Лентрансагентства. Там буквально за считанные минуты ему этот параграф разыскали и представитель агентства, высокая и русоволосая, с темно-кариыми глазами, чуть припухшими губами и каким-то иконически-русским лицом девушка Люба Ткаченко прямо при нем позвонила своей коллеге в мага-



зин и четко объяснила, как, по какой железной дороге и по каким расценкам такой груз можно принять. Ника поблагодарил ее, снова сел в машину и поехал обратно в магазин.

Назад ехали, наверное, полчаса — весь проспект Мира был перерыт, и шоферу никак не удавалось выехать на начало улицы Римского-Корсакова к музыкальному магазину. Конечно, Ника сразу догадался, что дело было совсем не в параграфе — еще когда женщина в магазине послала его на «консультацию» к бригадиру грузчиков. Он даже заранее знал, сколько и кому надо было дать — кому десятку, кому двадцать пять, кому сорок — и никакие заботы его бы уже не тревожили. Да, деньги были не ахти какие и покупка того стоила, чтобы еще немного потратиться, — но Ника не мог этого сделать. Ему было просто противно, когда он видел, что все эти люди, узнав в нем грузина, переставали смотреть на него иначе, чем на дельца — это была, пожалуй, главная причина, почему он постарался сделать все по букве закона.

Добравшись, наконец, до магазина, Ника обнаружил, что отношение к нему здесь резко переменилось. Люба Ткаченко, оказывается, звонила сюда еще раз, когда он уже ушел, — после чего покупку ему оформили моментально. И вот, заплатив в кассу необходимую сумму и уже собираясь выйти из магазина, Ника подошел к своей покупке, чтобы еще раз полюбоваться инструментом...

И вдруг кто-то закрыл ему сзади глаза, и женский голос с нескрываемым лукавством прошептал:

— Угадай!

Ника взял в руки закрывающие ему глаза ладони и, не оборачиваясь, провел пальцами по своему лицу. Что-то было знакомое, давнее, затаенно-сладостное в этом прикосновении. И вдруг, увидев родинку на ладони возле самого безымянного пальца, он сказал — и потом уже только успел подумать, как, каким образом он смог это вспомнить — сказал отрешенно, сразу, без колебаний:

— Нея...

Позади взвизгнули, две руки обхватили его и мягкие губы чмокнули в шею. Он обернулся — перед ним стояла Нея...



Неля... Спроси его сейчас, кто она тебе? ^{приятельница?} школьная подруга? ^{юношеское увлечение?} кто она? — он не смог бы ответить. Она была всем — всем и никем одновременно. Неля...

Ника познакомился с ней во время последних своих летних каникул перед выпускными экзаменами. В тот год впервые по указанию Министерства просвещения в школах была введена производственная практика, и Ника проходил ее на полиграфическом комбинате, в издательстве «Советская Грузия», овладевая, как тогда говорили, своей первой рабочей профессией — учился переплетному делу. И, наверное, хорошо учился, так как ему досрочно присвоили рабочий разряд, руководитель практики поставил высшую оценку, — и через два дня он был уже здесь, в Бахмаро, на одном из самых высокогорных курортов Европы.

Бахмаро. Зимой здесь никто не жил. Вот уже больше десяти лет с наступлением зимы все дороги перекрывались, последний житель поселка уходил в долину, а санаторий закрывался. Сезон-то здесь был всего шесть месяцев, а остальное время — долгая зима и короткая, стремительная весна. Здесь, на высокогорном плато, удивительно сочетались доносящийся с Черного моря морской воздух и ароматы хвойных лесов и альпийских лугов. А чуть выше поселка находилась маленькая смотровая площадка, откуда виднелось далекое море и возвышающиеся с другой стороны отроги Кавказского хребта.

Попал сюда Ника, можно сказать, случайно. В тот самый день, когда руководитель практики поставил ему оценку и он заполнил обходной лист, дядя Шалико, брат его матери, где-то достал ему эту горящую путевку. Отправляться нужно было немедленно, и вот, наспех собравшись, — вернее, собрала его мама, напичкав заодно тысячью разных напутствий и советов, как ему себя вести и чего не делать, — Ника впервые отправился один в такое дальнее путешествие, из Восточной Грузии в Западную, из Тбилиси в Гурию.

Мама сначала сложила все его вещи в маленький чемодан, но Ника упросил ее переложить все в рюкзак старшего брата, который, очень кстати, тоже подтвердил, что Нике с его рюкзаком будет удобнее. Утром его



разбудила соседка по купе, а через полчаса поезд остановился в Самтредиа, и он вышел. Потом на маленьком довоенном автобусе доехал до курорта.

Ему было тогда хорошо и радостно, как никогда в жизни. Не так давно ему исполнилось шестнадцать, и вот он уже с таким успехом получил первую рабочую специальность. Если кто-то говорил ему об этом или, чего доброго, начинал хвалить, Ника только отмахивался — что, мол, тут особенного, ерунда, но в глубине души все же гордился и даже очень. Он был довольно начитан для своего возраста, считал себя знатоком по целому ряду вопросов, немножко философствовал, сносно играл в шахматы, хорошо бегал и почти беспрестанно мечтал. Все его радовало здесь — и дорога, и встречи со столькими добрыми людьми. Ему было одновременно удивительно и хорошо, когда каждый, с кем он знакомился по пути, узнав, кто он и куда едет, старался ему хоть чем-нибудь помочь или сказать что-то приятное. Это началось еще в поезде — проводница вагона, потом соседка по купе, потом случайные попутчики до автостанции, шофер, несколько пассажиров, с которыми он познакомился уже в автобусе.

Все приводило его в восторг — каждая мелочь, каждый изгиб дороги, низвергающиеся водопады и причудливо изогнутые одинокие деревья. Ехали долго, останавливаясь в каждом селе, а в знаменитом своими минеральными источниками селе Набеглави устроили большой привал, и шофер предложил Нике перекусить вместе с ним — потом к их столу подсел и заведующий столовой, огромный рачинец из села Накиети, и тоже разговорился с мальчиком, — а еще часа через два, вконец обессиленный от такого количества событий и впечатлений, Ника уже спал, уткнувшись головой в подушку.

А вечером, когда сосед по палате разбудил его и отвел на ужин, Ника впервые увидел Нелю. Это было так: сосед, сухой, маленький и педантичный старичок, привел его к столовой минут за десять до открытия. Отдыхающие уже прогуливались взад и вперед перед закрытой дверью, томились, и Ника тоже пошел было бродить по утопанной дорожке, но, услышав смех, невольно обернулся. За ним шла высокая кареглая девушка с короткой стрижкой и большими миндалевид-

ными глазами и непринужденно рассказывала что-то нескольким идущим рядом с ней молодым людям, каждый из которых, как заметил Ника, старался стать ее главным «слушателем». А потом прозвенел звонок к ужину, — и Нику посадили как раз напротив этой девушки, которая так красиво улыбалась и умела смеяться заразительно-заразительно.

Это была именно она, Неля...

— Ну, нагляделся?.. — говорила она, смеясь. — Посмотри еще, посмотри! Как я тебе нравлюсь?

Да, это была она — высокая и красивая женщина с карими глазами. Длинные, цвета орехового дерева волосы спадали ей на плечи и грудь, из-под коричневого лайкового плаща нараспашку виднелось бархатное платье с большим вырезом на груди...

Они так и стояли прямо посреди торгового зала, подле рояля фирмы «Бернштейн».

— Слушай, я все что угодно могла предположить, — не могла нарадоваться она, — но что встречу тебя в Ленинграде, в комиссионном магазине — это уже фантастика.

Мимо них пронесли только что купленное пианино. Впереди шла женщина и энергичным голосом отдавала грузчикам приказания, сзади за ними едва поспевал человек в шляпе.

— Ну, Маня, успокойся, ничего не будет, не волнуйся, никто его не заденет, — переговаривался он с женой через головы грузчиков.

Неля взяла Нику под руку и отвела в сторону.

— Ты-то зачем сюда пожаловал? — игриво спросила она. — Ну ладно, я захожу во все магазины, которые попадают мне на глаза, но ты же не такой?.. Ты знаешь, — продолжала она, — я помню, как ты мечтал построить большой каменный дом, где по вечерам, даже летом, горели бы в камине дрова. Ты так хорошо об этом рассказывал, я до сих пор так и вижу перед собой этот дом. Огромный дуг величественно лежит у каминна, там же стоят несколько низких кресел, рояль и длинный, широкий обеденный стол с высокими резными деревянными стульями вокруг. Стульев должно быть ровно двенадцать, и только у двух из них на высоких спинках есть изваяния солнца и луны — и я никогда

и никому, кроме нас с тобой, не позволила бы на них сидеть... Ты знаешь, мне даже удалось купить два сервиза, которыми я так мечтала украсить тот наш стол.

Она посмотрела на него с какой-то дикой надеждой, как смотрит иногда ребенок на фокусника, — а вдруг он и правда совершит чудо.

— Ты построил свой дом? — спросила она.

— Нет. Пока нет.

— Ой, — вздохнула она с облегчением и едва уловимой грустью. — Какие мы с тобой были тогда фантазеры и несмышленыши. Ты знаешь, а потом я еще купила такой стол — большой, обеденный, из орехового дерева... А рояль? — спросила она вдруг. — Ты помнишь рояль? Ты хотел, чтобы он стоял в углу, большой и красивый. Ты купил его?

Ника улыбнулся ей.

— Представь себе, — ответил он, — купил.

— Здесь? — спросила она с каким-то недоверием.

— Здесь.

— Сегодня?

— Да.

— Покажи, — жестом капризного ребенка вскинула она голову.

Он подвел ее к инструменту, погладил полированное дерево.

— Вот.

— Это здорово, — Неля захлопала в ладоши и чмокнула его в щеку. — Слушай, ты молодец, ты просто молодец.

Она открыла крышку рояля.

— «Бернштейн». Ты молодец, это чудо. Помнишь, как ты это любил? — спросила она его и взяла несколько аккордов. — Прекрасно звучит, ты молодец, — повторила она. — А это помнишь?

Примерно минуту она играла Гершвина, потом сказала ему:

— Не удивляйся, я только это и знаю. Надо же чем-то развлекать гостей, и я играю им то «Апассионату», то Гершвина, то «Лунную» — все твои любимые вещи. А когда они напьются и захотят танцевать, — и она вдруг заиграла танцевальную мелодию. — А теперь что, отправишь в Тбилиси?

— Нет, — ответил Ника с грустью, — не в Тбилиси. В Павлодар.

— Почему? Ты же в Тбилиси живешь?

— Да, в Тбилиси. Но дочь у меня переехала в Павлодар.

— Как переехала?

— Вот так. Вместе с мамой.

Неля посмотрела на него понимающе.

— Так это ты для дочки?

— Да.

— Долго копил?

— Нет, гонорар.

— Наверное, все сюда и грохнул?

— Да...

— Боже, какой ты чудной, ты совсем не изменился. Любишь ее?

— Да.

— А ее маму?

— Тоже.

— И все-таки отправил их в Павлодар?

— Да.

Она потрянула головой.

— Нет, Ника, ты неисправимый, ты просто неисправимый чудак. — Неля взяла еще несколько аккордов.

— Она любит играть?

— Да.

— Ну, на счастье!..

Через минуту они вышли из магазина. Оказалось, что оба с утра ничего не ели.

— Пойдем отметим?

— Пойдем.

— Я знаю здесь одно место, — сказал он ей с надеждой. — Там всегда было хорошо.

Через каких-нибудь полчаса они уже были возле бара «Нектар». Швейцар учтиво открыл им дверь.

— Только у нас выпить нечего, молодые люди, — сказал он и вопросительно посмотрел на Нику.

— Как? — вырвалось у него.

— В связи с постановлением, — с гордостью в голосе отозвался старик. — Только соки и мороженое...

Ника и Неля посмотрели друг на друга и рассмеялись.

— Ладно, мы согласны и на молочный коктейль.

— Ну, тогда пожалуйста, — улыбнулся им швейцар и жестом показал, куда идти.

Все-таки вино здесь еще продавалось на длинном прилавке, перед входом в дегустационный зал, были выставлены разные марочные вина и коньяки вместе с хрусталем, керамикой и цветами. Ника купил бутылку мартини.

В баре, куда они через минуту попали, им подали два великолепных напитка с мороженым в высоких стаканах и две маленьких чашечки с горячим шоколадом. Когда глаза привыкли к темноте, они различили фигуры еще нескольких посетителей, сидевших в дальнем от них углу.

— Негусто для Ленинграда, — сказала Неля.

— Да, — ответил он, — тоже, наверное, в связи с постановлением...

Они сидели друг против друга, чуть не соприкасаясь лбами, пили коктейли и говорили какие-то несусветные глупости.

— Ник, — грустно сказала она, — Ник, возьми меня за руку.

— Что? — переспросил он, вдруг отключившись от собственной глупой болтовни.

— Да, — сказала Неля, — как тогда... Ты знаешь, я осталась такой же душой, как и была. Но ведь я знаю, что я уже такая взрослая, мне даже страшно сказать, сколько мне лет. Но по мне ведь незаметно, правда?

— Нет.

— Ладно, не ври. Я же вижу, что заметно. Ну скажи честно, все-таки на сорок я не выгляжу, правда?

— Нет.

— Ну вот, а внутри я такая же дура, какая была в шестнадцать, и даже еще хуже, только я это очень хорошо научилась скрывать. Особенно от детей... Знаешь, я все время скрываю то, что я дура, мне это ужасно надоело.

— Я тоже, — ответил он ей в тон. — А вот тогда мы ничего не скрывали.

— Ты и правда был какой-то дикарь, особенно... Ты знаешь, я, когда тебя вспоминаю, то вижу всегда в белой нейлоновой рубашке, и все время ты мчишься на меня на этом сумасшедшем коне... Помнишь?..

..Шел третий день их пребывания в Бахмаро. Они виделись только в столовой, и Ника все это время почти ничего не ел. Это заметила даже официантка.

— Ешь, а то пересажу, — пригрозила она.

Они всегда подолгу смотрели друг на друга, не говоря ни слова, а потом, в конце обеда, она неохотно вставала, в последний раз посмотрев в его сторону, и шла к выходу — там ее уже ждали все ее рыцари в полном составе. А потом они начинали прогуливаться. Как Ника ненавидел эти прогулки!.. За все эти три дня он ни разу не смог даже подойти к ней немного ближе — везде были эти насупленные и важные, гоголем вышагивающие гусаки, которые не то, что не принимали его в свою компанию, а просто не замечали вообще. Иногда она улыбалась ему украдкой, это случалось один или два раза в день, и он ради этого вынужден был с утра до вечера маячить где-то неподалеку от того места, где она гуляла, сидела, играла в карты, — и пока вся их компания распивала соки или вино и угощалась фруктами, он, как бедный родственник, украдкой наблюдал за ними издали, не смея приблизиться. Это было невыносимо, тем более, что многие, кажется, начинали обо всем догадываться.

— Брось ты, парень, за ней бегать, — сказал ему старик-сосед. — Видишь, какие там молодцы за ней ухаживают — повыдергивают тебе перышки, лучше не суйся!..

Ника и сам замечал, как все более колючими и неприязненными становятся взгляды ее ухажеров — они уже не просто не замечали его, но косились в его сторону с плохо скрываемой угрозой. И на третий день Ника решил.

Дело в том, что к ним в санаторий каждое утро приносили мацони, которое старик-сосед в первый же день посоветовал Нике взять. Приносил его местный крестьянин — сухой, неопределенного возраста горец со спокойными, безразличными ко всему окружающему глазами. Оживлялись и теплели эти глаза, только когда он смотрел на своего коня, явно не предназначенного для того, чтобы на нем привозили мацони и увозили пустые банки — этот стройный и гордый серо-сизый в крупных белых яблоках красавец, перебирающий в

нетерпении длинными тонкими ногами и окидывающий всех подходящих к нему живым и умным взглядом, приводил обитателей санатория в восторг. Горец медленным шагом заводил его на территорию, набрасывал уздечку на один из столбиков, поддерживающих волейбольную сетку, так же медленно отвязывал и снимал свою поклажу, лежащую в хурджине. Потом перекидывал хурджин через плечо и своей неторопливой походкой проходил по всем этажам санатория, раздавая мацони и собирая в хурджин пустые банки. Когда он так же неторопливо выходил из здания, возле коня его уже ожидала толпа зевак — рассматривали, правда, издали, и близко никто не подходил, потому что конь сразу начинал беспокоиться, а этого, как заметил Ника, не мог вынести никто из тех людей, что привыкли отдыхать, прогуливаясь взад и вперед в своих полосатых пижамах по утоптаным дорожкам санатория. Горец подходил к своему коню, снимал уздечку, привязывал обратно хурджин и, что-то тихо нашептывая своему любимцу на ухо и лаская, иногда по-мужски грубо, так же медленно выводил его за ворота санатория.

Горец иногда гарцевал на своем скакуне, но никогда не делал этого во время работы — только издали можно было вдруг увидеть, как в мгновение ока, взметнув тысячи брызг, переходит конь искрящуюся речку как скачет на другом берегу, унося все дальше своего хозяина. Но все это было там, далеко, в другом мире, где жил уже не тихий мацонщик, а совсем другой, гордый и сильный человек.

— Вот если бы прокатиться на нем, — сказала как-то Неля в окружении своих поклонников.

— Да-а, — продолжил кто-то из них, — ты бы у нас была настоящая амазонка.

Они потом говорили о чем-то еще — Ника уже не помнил, о чем, только запомнился ему восхищенный взгляд девушки, ее карие глаза, горящие угольками.

В тот день горец, как обычно, привез мацони, медленно вышел из санатория, спустился к речке, к тому самому месту, где переходил ее всегда вброд, чтобы потом подняться на гору и скрыться в лесных зарослях. Он жил где-то там, за горой, Ника слышал об-

этом вскользь, и ему очень хотелось бы посмотреть, где и чем живет этот человек, но в тот день его интересовало другое. Он не пошел на завтрак и убежал вместо этого к речке, терпеливо ожидая, пока горец соберет пустые банки и, погрузив свою поклажу на коня, подойдет к броду.

Наконец они появились — мужчина и конь. Привстав с камней, Ника поздоровался. Горец ответил и, даже не поднимая головы, продолжал свой путь.

— Можно вас на одну минуту? — остановил его Ника.

Тот остановился и посмотрел на мальчика с удивлением.

— Я... я... — запнулся Ника. — Вы бы не разрешили мне один раз сесть на вашего коня?

Горец, не говоря ни слова, отрицательно качнул головой и хотел уже шагнуть дальше, но Ника снова его остановил.

— Я... я вас очень прошу, поймите, это для меня очень важно, очень. Вы не думайте, я... я заплачу.

Он стал рыться в карманах и вытащил трешку.

— Вот.

Горец усмехнулся:

— Нет.

Ника нашел еще пятерку. Потом взглянул на горца, вывернул все свои карманы и собрал, наконец, девятнадцать рублей — все, что у него было.

— Вот, у меня больше нет, понимаете. Я вас очень прошу, дайте мне хоть раз сесть на него.

— Хороший конь, да? — вместо ответа спросил тот Нику.

Ника расплылся в улыбке:

— Очень.

— Ты очень хочешь прокатиться?

— Да.

— И отдаешь ради этого все свои деньги?

— Да.

— Ну ладно, — сказал горец, и так же неторопливо, как снимал хурджины при раздаче мацони, снял с коня поклажу, дал мальчику вначале подержать уздечку, а потом спросил:

— А как ты на него сядешь? Он же сбросит, он

очень не любит чужаков. Видишь, как играет, ой... —
Горец не смог подобрать нужного слова и замолчал. —
Это конь, — сказал он, наконец, утвердительно.

— Вы не беспокойтесь, — ответил Ника, — я умею,
я только раз, я вас очень прошу...

— Ну хорошо, — ответил горец. — Если раз, если
очень просишь, если он тебе так нравится...

Он уже с нескрываемым интересом разглядывал
худую и высокую фигуру мальчика, одетого в потер-
тые, перекрашенные в черный цвет узкие джинсы и бе-
лую нейлоновую рубашку.

— И рубашки не жалко?

— Нет.

— А если упадешь?

— Ну и пусть.

— Ну тогда давай, — сказал мужчина и переки-
нул уздечку через голову коня.

Нике стало приятно. Горец не спрашивал его, си-
дел ли мальчик когда-нибудь на коне без седла, — он
отдавал ему своего коня, значит, доверял ему, и это
было главное.

Ника подвел коня к большому валуну, залез на ва-
лун и оттуда прыгнул ему на спину — конь удивленно
повел головой, по всему его телу несколько раз прока-
тилась дрожь.

— Отпусти, чуть-чуть отпусти, и он сам, — кри-
кнул ему сзади горец, — отпусти поводья!

Ника приспустил поводья, обхватил ногами бока
коня и чуть пригнулся. Конь, пробежав несколько ша-
гов, сразу перешел на галоп. Ника только слегка пра-
вил — казалось, конь сам знал, куда он должен идти.
Впереди был небольшой подъем, потом приоткрытая ка-
литка, ведущая во двор санатория — туда Ника и на-
правил коня. Он сидел на коне и раньше, еще в третьем
классе, но такой легкости, такого головокружительного
хода ему испытывать не доводилось. Он увидел еще из-
дали, как обитатели санатория с интересом смотрят
на него, на его скачку, а среди наблюдавших была и
она, Неля, в окружении своих неперемненных кавалеров.
Ника устремился вперед, и конь, словно почувствовав,
что хочет от него всадник, пролетел в полуоткрытые
ворота, в этот едва достаточный для него проход, слов-

но в игольное ушко, не задев, не коснувшись их даже
слегка.

Метров сто оставалось теперь до той компании, в центре которой стояла кареглазая Неля,—конь рванулся вперед, к ней, словно ветром сдуло всех ее ухажеров, и только она одна осталась стоять неподвижно, как замороженная глядя на летящего на нее всадника. Через мгновение Ника уже был перед ней, в последнюю секунду он изо всей силы натянул уздечку, конь заржал, взметнулся в воздух передними ногами и, как вкопанный, встал, замер, словно его прибили гвоздями к месту.

Ника спрыгнул на землю, поклонился девушке и сказал:

— Вот... Я слышал, что вы хотели на нем прокатиться. Пожалуйста...

На ее чуть побледневшем лице вспыхнули те же самые угольки желания, которые Ника заметил еще тогда.

— Спасибо, — произнесла Неля, с достоинством принимая подарок, — но...

— Вы не беспокойтесь, — ответил Ника, — я сам посажу и подержу за уздечку.

Он опустился перед ней на колени и подал ей руку. Неля, придерживаясь руками за его плечо и круп коня, встала ему на другое колено ногой, Ника чуть подтолкнул ее вверх и вот она уже на коне, сидя по-дамски, боком. А потом, взяв коня за уздечку, как он и обещал, Ника сделал вместе с ней несколько небольших кругов по санаторному двору.

На их прогулку смотрел весь санаторий, но никто из ее сконфуженных спутников так и не посмел подойти к ним поближе. Потом Неля попросила, понизив голос, чтобы слышно было только ему:

— Хватит, а теперь помоги мне отсюда спрыгнуть.

Он остановил коня, подошел к ней, протянул руки. Девушка медленно сползла к нему на плечи, он какое-то мгновение подержал ее за талию, а потом так же медленно опустил на землю.

— Спасибо, Ника, — сказала она, — спасибо, ты молодец.

Она отошла от него медленно, с достоинством, с

тем же лицом, с каким она встречала летящего к ней навстречу всадника. Только теперь кинулись к ней ее посрамленные кавалеры, превознося и расхваливая в один голос ее выдержку, ее умение ездить верхом... А Ника снова вскочил на коня и галопом погнал его назад, к горцу.

Через полчаса он вернулся, забрался в свою комнату, лег на кровать, накрылся одеялом — и вдруг заснул счастливым и безмятежным сном.

— Это было чудесно, — говорила Неля, отхлебывая чуть остывший шоколад. — Хотя ты, наверное, и сейчас умеешь выкидывать разные фокусы и кружить головы своим дамочкам, но тогда это было неповторимо, это было просто чудо... Конечно, я сразу поняла, что этого уже тебе не простят, — проговорила она и потрепала его по руке. — Помнишь?..

...В тот же вечер, после ужина, к Нике подошел один из той компании — Гурам Цаава из Кутаиси.

— С этой минуты, — проговорил он, — ты больше не то, что не подойдешь к ней, но даже и глаза на нее не поднимешь, если хочешь остаться в живых.

Ника удивленно уставился на него:

— Как это?

— Вот так. Очень даже просто. Я тебе сказал, остальное сам решай.

Гурам отвернулся от него и медленной величественной походкой пошел к своим дружкам. Все они стояли неподалеку и смотрели на оставшегося в одиночестве Нику...

То же самое повторил ему и старик-сосед, когда Ника вернулся в свою комнату.

— Парень, ты что, с ума сошел, — твердил он, — ты что гусей дразнишь! Выбрось ее из головы, ты что захотел?.. Они же тебя убьют. Не прибьют, нет — а убьют, понимаешь? — Он по слогам повторил ему: — У-бьют. Это разные вещи...

Эту ночь Ника спал плохо, а на следующее утро, перед завтраком, он снова увидел ее — Неля по своему обыкновению прогуливалась перед столовой. Увидев Нику, девушка остановилась, бросила на месте своих кавалеров и подошла к нему.

— Ну что? — спросила она вместо приветствия.

Он даже растерялся.

— Как что?

— Ну, тебя предупредили?

— Да.

— И что же ты решил?

Ника усмехнулся:

— Как что?

— Будешь ко мне подходить или будешь прятаться?

— А ты как хочешь?

— Нет, я тебя спрашиваю.

— Я... — запнулся Ника, — я... я никого не боюсь. Вот только ты...

— Ну ладно, — девушка рассмеялась в ответ, — делай, как знаешь. И что бы тебе ни говорили от моего имени, никому не верь, верь только моим глазам, понял?

— Понял, — ответил Ника.

— Ну все, пока, — кивнула она ему и снова повернулась к своей озадаченной свите.

Днем к Нике больше никто не подходил. Правда, он всюду и везде чувствовал острые, колючие, жесткие взгляды врагов, окружавших Нелю — его Нелю...

А вечером его уже ждали — наверху, в лесу, на той тропе, что вела к находившимся метрах в ста с лишним от санатория туалетах. Ника знал, что его там будут караулить — его предупредил старик-сосед, посоветовал держаться подальше от этого места.

— Что, сходить больше некуда? Нашелся тоже, — заволновался он, когда Ника ответил отрицательно. — Куда ты лезешь. на что идешь? Ведь укокошат тебя, понимаешь, и никто не найдет концов. Пойми, не надо дергаться... —

Было ли ему страшно тогда? Конечно. Драться ему приходилось уже немало, и он умел постоять за себя, но в такую сложную обстановку попадал впервые.

А санаторий тем временем разделился надвое: одни были на стороне Ники, другие открыто выступали против, Нику и жалели, и называли выскочкой, им восхищались и его же поносили. Ника в тот день был гвоздем всех разговоров и пересудов.

Вечером, по дороге к туалету, он заметил в лесу чьи-то мелькнувшие невдалеке фигуры. Ника понял — началось.

Не успел он пройти и пяти шагов, как его остановил маленький мальчик, сын санаторского истопника.

— Вас там зовут, — сказал он Нике и показал в гущу деревьев, где светились в темноте несколько сигаретных огоньков.

— Кто?

— Не знаю. Они сказали, чтобы вы подошли туда, и чтобы не боялись, они вам ничего плохого не сделают.

«Да, началось», — сказал себе Ника.

— Ладно, — ответил он, — передай, что я подойду на обратном пути. Понял меня?

— Да-да, понял.

— Ну беги, скажи.

Мальчик убежал. Ника пошел к туалету. Затем вымыл руки, немного постоял там же, у раковины. Теперь он был готов.

Возвращался обратно чуть медленнее, чем шел сюда. «Сейчас самое главное — успокоиться», — говорил он себе. — «Главное, быть спокойным и не дать им в этом усомниться...»

Так, не замедляя и не ускоряя шаг, он дошел до того места, где его встретил мальчик — и повернул в сторону деревьев, туда, где мелькали тени и светились огоньки сигарет. Судя по этим огонькам, их было там, по крайней мере, человек пять-шесть.

«Наверное, будут бить, — сказал он себе. — Ну ничего, это мы еще посмотрим, кто кого. Главное — не падать духом...»

Так, успокаивая и подбадривая самого себя, чекая каждый шаг, мальчик приближался к деревьям. Или уже не мальчик... Ника шел вперед.

И все же он чуть не вздрогнул от неожиданности, когда буквально в двух шагах перед ним из-за ствола огромного дерева почти бесшумно вышел вдруг Гурам Цаава. В руках у него поблескивало ружье.

— Ну что, ты думал, мы с тобой шутить будем? — спросил он.

Ника попятился, но, сделав два шага, понял — сзади тоже враги. Кто-то уже дышал ему в затылок. Тогда он сделал шаг вперед.

— Убери эту палку, — сказал он своему противнику как можно спокойнее.

— Нет, ты сначала скажи, чего ты добиваешься, молокосос несчастный?!

— Что ты с ним церемонишься! — крикнул кто-то. — Отобьем ему почки, потом будет знать, как на конях перед девушками красоваться!

Ника узнал крикуна. Узнал — и ему стало обидно и больно. Это был один из тех молодых людей, который понравился Нике сразу по приезде в санаторий — среднего роста, виски чуть тронуты сединой, красивый греческий профиль. Он тоже, правда, входил в когорту любителей погулять около Нели, но выделялся среди них своей внешней интеллигентностью.

— Нет, — сказал Ника тихо.

— Что нет? — снова спросил Гурам, постепенно заводя сам себя. — Я не шучу, понял? — добавил он угрожающе.

— Убери палку, — повторил Ника еще тверже и снова сделал к нему шаг.

Гурам направил на него дуло двустволки, и Ника вдруг, сам не сознавая того, что он делает, поддал снизу рукой под ружье, потом схватился за дуло двумя руками — в это время грохнул выстрел, сразу за ним второй, вылетевший из дула огонь, казалось, обжег Нике лицо.

— Ах ты... — вырвалось у него ругательство.

И, потянув на себя Гурама вместе с ружьем, он резко выбросил вперед ногу и ударил того в грудь. Гурам отлетел, и Ника, держа ружье за горячее еще дуло, сильно размахнулся и саданул им по стволу дерева. Приклад надломился от удара, Ника стукнул еще несколько раз, пока совсем не измочалил его, потом повернулся — вокруг были враги, но подойти к нему близко никто не посмел. Ника швырнул покореженное ружье в кусты и все тем же медленным шагом пошел к санаторию.

Ему навстречу уже бежали люди.

— Что случилось? — подлетел первым истонник.
— Ничего. Ничего, — отвечал всем Ника. — Ни-
чего...

Так же медленно он вошел в здание санатория. В глазах попадавшихся ему навстречу людей он видел и укор, и восхищение, и любопытство — только равнодушия не было.

Минут через пятнадцать к нему в комнату постучала одна из девушек:

— Можно вас?

— Да, — Ника встал. — Вы ко мне?

— Да-да, к вам. — Она подошла к нему ближе и сказала: — Только вам и только в руки.

Он развернул записку. Там было всего несколько фраз от Нели — она просила его прийти к ней и немедленно. Ника начал одевать куртку.

— Вы только не бойтесь, — сказала ему девушка. — Я сама вас провожу. Вы не думайте, что это они меня послали, нет — это она и никто другой.

— Я не боюсь, — сказал ей Ника.

— Да, я знаю, я просто так сказала. Просто я сама бы, наверное, испугалась и подумала, что ко мне подослали, вы понимаете?

— Да.

— Ну тогда пошли.

И они пошли в двести тридцать вторую комнату, где жила Неля...

— А ты знаешь, — сказала она, — я ведь встретила его, Гурама Цаава, он живет в Кутаиси, стал большим начальником, знаешь?

— Знаю, он парторг автозавода.

— Ты что, встречался с ним?

— Да...

Ника приезжал в этот город для подготовки телепередачи, и, встретив здесь неожиданно Гурама, вначале даже не узнал его — так, что-то смутное, далекое и только потом, за обедом в рабочей столовой вдруг сказал:

— Вы знаете, я как-то очень хорошо помню ваше лицо, но не могу вспомнить, откуда. Может, напомниме?

Гурам расхохотался в ответ и радостно заявил, что теперь он сдается с повинной в его руки — ведь это он сам, тот самый Гурам, который когда-то поднял на него ружье...

— Ну и как ты это воспринял?

— Просто.

— Он ничего не спрашивал обо мне?

— Нет. Мы говорили о производстве.

— Мужчин никогда не понять, — сказала Неля. — Чуть не поубивали друг друга из-за меня, а тут даже не вспомнили. Хороши!

...Когда он зашел в комнату двести тридцать два, девушка закрыла за ним дверь, а сама осталась в коридоре. Неля была одна, — одетая в коричневый стеганый халат, накинутый на тонкую, тоже коричневую, длинную ночную рубашку.

— Видишь, — сказал она ему, — я не успела выйти. Я уже собиралась спать, когда это случилось...

Он понимающе кивнул.

— Ну подойди, садись сюда.

Ника подошел и сел возле нее.

— Герой, — сказала она. — И чего ты добился этим?

— Ничего.

— А тебе не было страшно?

— Было, — признался Ника.

— И все-таки?

— Да, и все-таки.

— Опозорил меня на весь санаторий, — вздохнула она. — Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Мне же теперь от тебя не отвязаться.

Он удивленно поднял на нее глаза.

— Да-да, ведь все скажут, что между нами уже что-то было. Просто так на ружье не бросаются, понимаешь?

Ника промолчал.

— А теперь... даже не знаю, что делать. Ну вот что, завтра я тебя никуда от себя не отпущу. Целый день будем вместе, вдвоем. Или ты против?

— Нет.

— Ну вот и хорошо. Герой, — сказала она снова и,

улыбнувшись, потрепала его за волосы. — Ну посмотри на меня, что ты глаза опустил.

— Так, просто.

— Просто. Его не побоялся, а меня боишься, да?

— Нет, я тебя тоже не боюсь.

— Ну тогда посмотри мне в глаза.

Ника взглянул на нее.

— Вот так, хорошо. Я тебе правда нравлюсь?

— Да.

— Тогда поцелуй меня.

Она сидела перед ним вся как-то подобрившись — руки на коленях, плечи прямые, голова чуть приподнята и глаза почти закрыты. Ника пододвинулся к ней как-то неумело и чопорно, прикоснулся губами где-то возле ее подбородка и снова отодвинулся.

— Ну ладно, а теперь иди. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — выдохнул Ника и быстро встал.

— Ты смотри, какой шустрый. Тебе что, так хочется от меня поскорей уйти?

— Н-нет, — промямлил мальчик...

— Ладно, иди...

На другой день она уже не отходила от него ни на шаг — и только во время обеда и ужина заходила с ним вместе в столовую, усаживала его, а сама исчезала, не говоря, куда и зачем, только отвечая, что так надо. Но когда Ника выходил из столовой, она уже ждала его у дверей, брала сразу под руку и вела на прогулку по центральной аллее.

— Видишь, вот так, дорогой, и будем ходить. Нам по-другому уже и нельзя, — говорила она ему.

Ника ее понимал. Она просто не хотела оставлять его одного. Неподалеку от них прохаживались все ее прежние поклонники, кидая в его сторону недвусмысленные взгляды, и ожидая, видимо, когда она все-таки оставит его одного, чтобы наконец с ним расправиться. Все это Ника понимал, но его злила такая опека. Несколько раз он даже порывался освободиться от нее.

— Ты понимаешь, что ты меня позоришь? — спрашивал он.

— Нет, почему? — простодушно отвечала Неля.



— Я знаю, зачем ты так делаешь. Ты думаешь, что они меня побьют. Думаешь, они нападут сразу, как только ты уйдешь, да?

— Глупый ты, — говорила она ласково. — Мне просто приятно ходить с тобой рядом, вот и все. Неужели ты думаешь иначе?..

После ужина к ним присоединились еще двое: егс старик-сосед и пожилая женщина.

— Тоже мне, опека и охрана, — Нику аж передергивало, но он уже ничего не мог с этим поделать, не мог даже бросить все и всех и убежать — это было бы на самом деле мальчишеством, а ведь он только что доказал всему санаторию, что он уже не мальчик.

Нет, бежать было нельзя — и они ходили так, все вместе.

— Ника, слушай меня внимательно, — сказала ему вдруг Неля, когда они вернулись в санаторий, — слушай и не перебивай... Вот что я тебе скажу, дорогой... Ты сделал все, чтобы нам с тобой нельзя было тут спокойно жить. Ты сделал еще больше, ты сделал так, что тут стало небезопасно. Не перебивай, — повторила она, — я узнала плохие новости. Я, конечно, понимаю, что на твою романтическую голову они могут подействовать иначе, но я должна тебе сказать — завтра рано утром сюда приедут на машине друзья Гурама, они постараются нас найти, чтобы расправиться с тобой, а меня похитить.

У Ники похолодело сердце.

— Как?

— Очень просто. Как ты видишь, здесь нам оставаться уже нельзя и за помощью обратиться не к кому. Вот. Там твоя сила и смелость уже не помогут, будь уверен. Один раз тебе повезло, но во второй раз тебя ничто не спасет... Поэтому нам надо успеть.

— Что успеть? — не понял Ника.

— Успеть уйти отсюда, пока они нас не застали. Завтра утром уже будет поздно, понимаешь?

— Но как?

— Очень просто, — сказала Неля. — Ты... — она посмотрела на него лукаво, — сегодня ночью ты меня похитишь, понял?..



Они сидели совсем близко от стойки, в самом нижнем углу маленького бара за низким столиком. Девушка-барменша перехватила взгляд Ники и поманила его пальцем. Он подошел.

— У вас в этой бутылке коньяк? — спросила она.

— Да, мартини.

— Здесь пить нельзя, понимаете?.. Но я вижу, вы не такие посетители, поэтому...

Она быстро достала из-под стойки две маленькие рюмочки.

— Вот, пожалуйста, — и положила сверху шоколадку. — Только тихе.

Ника взял это все в руку и поманил ее жестом. Она наклонилась.

— Можно? — спросил Ника.

— Что?

— Еще одну рюмочку.

Девушка удивленно посмотрела на него.

— Да... но зачем?

— Для вас.

— Ой нет, что вы, я же на работе. И потом, я не смогу к вам подойти, это исключается.

— Хорошо, — сказал Ника, — тогда сделаем так.

Он сам взял низкую пузатую рюмку и направился к своему столику — открыл бутылку, налил себе, Неле и в эту пузатенькую тоже.

— Ну давай, за встречу, — они очень тихо чокнулись, а потом Ника чокнулся и с этой, стоящей перед ним рюмочкой, выпил, надкусил шоколад и поднялся. — Я сейчас, Неля.

Он снова взял рюмку в свою большую ладонь — со стороны даже нельзя было догадаться, что у него в руке что-то есть — и подошел к стойке.

— Еще два коктейля, пожалуйста. — сказал громко и поставил незаметно на стойку полную рюмку. — Ваше здоровье, — добавил он тихо.

— Что? — наклонилась девушка.

Он взял ее руку и губами коснулся тыльной стороны. Рука напряглась, но она не отняла ее.

— Вот. Будьте здоровы, — сказал он ей. — Дайте еще одну шоколадку.

Она подала. Ника заплатил.



— Это вам...

— У меня уже голова кружится, — сказала Неля, когда он снова сел напротив. — Давай лучше поедем ко мне, там, по крайней мере, нормальный ресторан.

Она перехватила его взгляд.

— Нет, и не думай, что я ревную, еще чего, — рассмеялась Неля, погрозив ему пальцем. — Те времена давно прошли. Если хочешь знать, наша барменша мне нравится даже больше, чем тебе.

— Я тоже голоден, — признался Ника.

— Ну тогда пойдём.

Они допили коньяк, чуть-чуть глотнули коктейль и встали. Проходя мимо стойки, Неля остановилась, открыла сумочку, отыскала там большие пластмассовые трехцветные серьги и положила их на стойку.

— Это вам от меня.

— Ой, — сказала девушка, — что вы, как можно.

— Попробуйте, может не подойдет.

Девушка быстро надела их — серьги ей и правда шли.

— Вот и все, будьте счастливы, — сказала Неля. — Вы и без них очень хороши, а так...

И, перегнувшись через стойку, она поцеловала ее в щеку.

— Спасибо.

— А мне можно? — поинтересовался Ника.

— Ну ты же только этого и добивался, — пригрозила ему Неля. — Давай, чего медлишь...

Было уже около пяти часов, когда они вышли из бара, в городе темнело. Они перешли Московский проспект, и Ника, встав на обочине, стал ловить проезжающие машины. Из движущегося потока вынырнул и остановился возле них синий с белой полоской «Москвич-412». Ника медленно открыл дверцу.

— Вы не беспокойтесь, — повернулся к нему шофер, — это он с виду такой старый и неуклюжий. Я вас мигом домчу, куда угодно.

Они уселись на заднее сидение.

— Вам куда?

Ника вопросительно посмотрел на Нелю.

— Как куда? — переспросила она с каким-то даже удивлением. — Ко мне, в «Пулковскую».

— К Монументу защитникам Ленинграда, — уточнил Ника, — на площадь Победы.

— Понял, — ответил шофер, — я мигом.

Москвиченок, и правда, на удивление быстро набрал скорость и рванул вперед, обгоняя попутные машины.

— Ой-ой-ой, — приговаривал водитель, цокая языком, если кто-то не очень хотел уступать ему дорогу, и прибавлял газу.

В конце Московского проспекта, промелькнувшего перед ними, казалось, за несколько секунд, он лихо развернулся и въехал на стоянку возле гостиницы.

— Приехали... — машина мягко затормозила. — Вот и все.

Ника протянул ему пятерку.

— Это много, — сказал шофер, — вы должны мне не больше трех.

— Правильно, — кивнул Ника, — три за дорогу и надбавка за скорость.

Неля мягко пожала ему руку:

— Пойдем...

Подойдя вплотную к громаде из коричневого гофрированного алюминия и стекла, они поднялись на несколько ступенек и подошли к двери. Ника взял Нелю под руку и чуть подтолкнул вперед — дверь автоматически открылась.

— Ты что, уже бывал здесь? — с удивлением спросила она.

— А что?

— Знаешь, как швейцары здесь ловят новых посетителей? Те ищут на двери ручку и удивляются, когда она открывается сама.

— Надо быть чуть-чуть наблюдательным, — сказал Ника. — Понимаешь — чуть-чуть...

Они медленно пошли мимо чинно стоящего швейцара и двух служащих, мимо низких кожаных кресел и столиков и, обогнув стойку администратора и даже не взяв для Ники гостевой пропуск, повернули направо и остановились у лифта. Ника дотронулся до сигнальной панели рукой, одна лампочка загорелась зеленым цветом. Слева от них открылась дверь лифта и оттуда вышли двое молодых девушек в коротких джинсах, сандалиях на босу ногу и длинных накидках.



— Финны, — сказала Неля.

— Да... говорят, в этой гостинице останавливаются только финны, грузины и другие иностранцы.

Неля рассмеялась.

— Да, представь себе, я тут встретила одну свою знакомую, она на пятом этаже. Бывает, еще молодожены живут, но их сейчас очень мало.

Они вошли в кабину, Неля коснулась цифры семь, лифт медленно тронулся, мгновенно набрал скорость и, кажется, почти сразу так же без рывка остановился.

— Наш этаж, — сказала она, — ключ у меня в кармане, а ты идешь ко мне зайцем.

— Не зайцем, а контрабандой, — поправил Ника.

— Ладно, — засмеялась Неля.

Она вставила полукруглый ключ в замочную скважину семьсот девятнадцатого номера, щелкнул замок.

— Войдите, — пригласила его жестом.

Ника входит. Звук вынимаемого из замка ключа. Мягко прикрывается дверь. Замок снова щелкает...

— Вот мы и дома, — щебетала Неля, доставая из полиэтиленового пакета коньяк.

Открыв холодильник, она начала вынимать оттуда шоколад, лимон, бутылку «Пепси», бутылку «Боржоми» — что еще? да! — сыр и кусочек копченой колбасы.

— Все, — выдохнула она удовлетворенно. — Больше у меня ничего нет. И еще могу сварить тебе кофе.

— Я думал, ты хотела пригласить меня в ресторан, — сказал Ника.

— Ну, если ты хочешь...

— А кофе потом?

— Ладно, — ответила Неля, — если ты так хочешь, я не смею тебя ослушаться.

Она молитвенно сложила руки. Ника взял ее за плечи.

— Подожди, пококетничала и хватит.

— Ты и правда, наверное, хочешь кушать.

— Наверное да, коктейль только разбудил во мне аппетит.

— Ну пошли вниз.

— Ты переоденься, я подожду в холле.

— Какой ты стал галантный! — рассмеялась она.

— Я помню, ты любил сидеть и смотреть, как я переодеваюсь. Конечно, я понимаю, это было давно — одно дело, когда смотришь на семнадцатилетнюю девочку, а совсем другое...

— Хватит, — сказал он примиряюще, — слушай, что ты завелась? Посижу здесь в кресле и посмотрю твои журналы.

— Как хочешь, только не оборачивайся.

— Ладно.

Он опустился в кресло возле телевизора, где на журнальном столике лежали вразброс несколько грузинских журналов и газет, которые Неля, видимо, привезла с собой из дома или купила в аэропорту — начал их лениво перелистывать, потом увлекся...

— Я готова, — послышалось сзади.

Ника обернулся.

— Ты знаешь, — сказал он, поднимаясь с места, — ты, кажется, стала еще красивее. Не знаю, как это у тебя получается, но...

— Я тоже не знаю, как это у тебя получается, что каждому твоему слову я верю до сих пор, — ответила Неля ему в тон.

На ней было темно-синее, отсвечивающее серебром платье с длинным разрезом на боку, обувь и сумочка такого же цвета. На груди и в ушах отблескивали и играли в электрическом свете разноцветные камешки. Заметив его восхищенный взгляд, она улыбнулась.

— Все только для тебя.

Ника слегка прикоснулся к ее волосам.

— Ты выглядишь потрясающе!..

У женщины сияли глаза. Губами он несколько раз прикоснулся к ее лицу — отметив к своей радости, что морщинок у нее на шее еще нет и глаза светятся почти так же, как и прежде. Выходя из номера, она чинно взяла его под руку — так они вошли в лифт, так спустились, прошли через вестибюль и проследовали в ресторан.

— Это я для того, чтобы они нас пропустили обратно, не спрашивая пропуска, — шепнула Неля.

Ника усмехнулся про себя. Она и правда умела мгновенно вникать в любую ситуацию и самостоятельно пытаться найти выход. Так было и в те далекие времена, когда она организовала побег...



Она так буднично и просто сказала это: ты меня похитишь... У него перехватило дыхание. Он столько раз уже мечтал об этом в своих мальчишеских грезах: ночь, луна, всадник и девушка на белом коне, погоня... И вот она сама говорит об этом так спокойно и деловито.

Мимо них прошли какие-то отдыхающие, Неля понизила голос.

— Пойдем, здесь нам не дадут поговорить.

Зашли в ее комнату. Там уже сидели двое — девушка, приходившая к нему прошлой ночью, и женщина средних лет. Они посмотрели на входящих, понимающе переглянулись, встали как по команде и неохотно вышли из комнаты.

...Неля говорила быстро и уверенно. Несколько раз он порывался вставить свое слово, но она только махала на него рукой:

— Молчи, не перебивай... Слушай, Ника, — говорила она, — я уже обо всем договорилась. Сегодня жена истопника мне сказала — ты знаешь, мы с ней подружались недавно — так вот, она сказала, что завтра они приедут и меня похитят. Можно было бы, конечно, сообщить в милицию...

— Нет-нет, — сказал Ника, — ни за что.

— Да, я тоже так думаю. Во-первых, тут и милиционера не найдешь, а потом, над нами только посмеются. Им нужны факты, а не слухи, а пока ничего не случится, будут смотреть сквозь пальцы. Так вот: сегодня тебя никто не тронет, иди и постарайся заснуть, а вот это возьми, — Неля протянула ему часы. — Это часы с будильником. Поставь его часа на четыре, мы должны успеть уйти до того, как они приедут, а вещи свои собери сразу же перед сном, чтобы потом не искать ночью, понял?

— Да.

— И вот еще что: никому не говори, даже своему старику. Мало ли что. Никому, понял?

— Нет-нет... я понимаю.

— Никому. А в четыре утра, как встанешь, выходи из палаты и иди к моей комнате. Дверь я оставлю открытой, моя кровать вот эта, прямо у двери. Подойдешь, я тоже, наверное, не буду спать, но если засну — разбудишь, и мы уйдем.



— Хорошо, — сказал он шепотом, — хорошо, я все сделаю.

— Ну вот, что еще?.. Ну все, теперь уходи.

Ника встал, она протянула ему руку — он сжал ее, даже чуть не потряс, но удержался. Неля посмотрела на него с улыбкой, он тоже усмехнулся.

— Ну вот, я пошел.

— Часы не забудь.

Он бережно положил часы в карман и вышел. В коридоре женщина с девушкой уже переминались нетерпеливо с ноги на ногу.

— Все? — спросила девушка. — Вы к нам еще вернетесь, или уже нет?

— Нет-нет, спите спокойно, — ответил он. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — облегченно вздохнула женщина, и они обе скрылись за дверью.

По пути в свою комнату Ника достал из кармана часы — стрелка будильника стояла на цифре четыре. Придя к себе, сразу разделся и лег, но ни о каком сне уже и речи быть не могло. Даже вздремнуть немного, закрыть на минуту глаза, и то было страшно. Время тянулось томительно долго. Старик-сосед безмятежно, как-то по-детски посапывал во сне, рядом, за стенкой, слышался чей-то храп, из открытого окна доносился шум леса. Вскоре он начал различать и всплески маленькой речушки — днем ее не было слышно и вблизи, но сейчас, в ночной тишине, даже сюда долетал ее едва слышный голос. Мучительно подступал рассвет — несколько раз уже устраивали перекличку петухи, прокатывался волной по селу собачий лай — и все-таки он чуть не пропустил последний момент. Будильник начал было звенеть, Ника схватил его, и только тут понял, что давно уже надо было вставать, не дожидаясь звонка. Он взглянул на старика — тот продолжал спать. Быстро оделся, вышел к туалету, умылся, снова вернулся в комнату и вынес в коридор заранее уложенный рюкзак. Поставив его возле двери, он пошел будить Нелю, но с полдороги снова вернулся. «Вдруг кто-то выйдет, заметит, и все откроется!» — пронеслось в него в голове.

Ника закинул рюкзак на плечи, но, почти дойдя

до цели, вернулся опять, снял его и взгромоздил на стоящий в коридоре высокий шкаф.

Только он успел подойти опять к ее двери, как она тут же открылась и вышла одетая Неля.

— Ты что шумишь? — зашептала она. — Зачем бегаешь взад-вперед?!

Он показал ей глазами на шкаф. Неля посмотрела, увидела рюкзак.

— Какой ты еще несмысленыш, — вздохнула она. — Снимай и пошли.

Ника пошел к шкафу, вслед за рюкзаком сверху посыпались какие-то бумаги.

— Тише, всех разбудишь сейчас, — проговорила Неля. — Пошли быстрее.

Они спустились на первый этаж, прошли коридором до конца правого крыла. Ника открыл выходящее в сад окно.

— Я сейчас, — он встал на подоконник, спрыгнул вниз. Неля подала ему свои две сумки и рюкзак, потом сама спустилась ему на руки.

— Ну вот, — сказала она, почувствовав под ногами землю. — Сила у тебя большая, а ума...

К речке спускались бегом — там, у переправы, их уже ждал горец со своим конем. Он укрепил на седло их вещи, и вдвоем с Никой они помогли Неле сесть верхом. Ника взял уздечку.

— С богом, — сказал горец. — Да! — он что-то сунул Нике в карман. — Это твои деньги, они тебе пригодятся.

Ника начал было отказываться, но тот похлопал его по спине.

— С богом, спешите, — повторил он и пошел вперед.

Тропинка, на которую они вышли, зигзагами уходила в гору, и вскоре вывела их на маленький пригорок, откуда начинался спуск.

— Вот, — сказал горец, — отсюда, не сворачивая никуда, идите прямо по этой тропинке, несколько раз она будет пересекать дорогу, но вы не сворачивайте, а находите ее снова и спускайтесь вниз. Дойдете до озера, а оттуда уже близко, где-то минут через двадцать будете в Набеглави. Остальное она уже знает. Ну, с богом. Счастливо.



Он похлопал коня по крупу и повернул обратно.

Все явственнее занимался рассвет. Солнце еще не показалось, но уже светлело небо, и лишь на самом его склоне еще горела маленькая звезда. Потом потухла и она, и только медленно бледнеющая луна виднелась какое-то время.

Ника шел по колени в густой траве, кеды и брюки у него мгновенно намокли, но он не обращал на это внимания. Неля молча сидела на коне.

— Ну скажи что-нибудь, — попросил он.

— Да, скажи! Что с тобой говорить. Похитил меня из санатория, а его еще развлекай. Ишь ты!..

Лес понемногу оживал, все громче и громче заливались проснувшиеся птицы, где-то вдалеке шумел водопад. Вокруг — красота необыкновенная. «Нет, это даже не то слово», — сказал себе Ника. Он впервые видел и ощущал такое великолепие, это была сказка, сон, — он шел и сам себе не верил, что это он идет по спускающейся к Набеглави тропке, что это за ним следом шествует конь, а на нем сидит Неля, его Неля, которую он похитил.

Несколько раз дорога пересекала тропинку, но Ника каждый раз удачно находил ее и снова шел вниз.

Озеро первой заметила Неля.

— Ой, — сказала она, — смотри, какой туман.

Спустившись еще метров на сто, они вышли на большую поляну, посреди которой, со всех сторон окруженное деревьями, лежало маленькое, правильной овальной формы, озеро.

— Как нарисованное, — сказал Ника.

— Да. А ты видишь, как оно дышит?

Над самым озером, на расстоянии метра, а местами и ниже, стоял густой туман.

— Это, наверное, потому, что вода теплая, теплее воздуха, — сказала она.

— Я хочу купаться.

— Ты что, с ума сошел?

— Я все равно буду.

— Тогда я тоже, — сказала Неля. — Помоги мне сойти с коня.

Ника спустил ее и стал сбрасывать одежду.

— А если я утону, ты будешь меня спасать? — спросила она.



041135340
302.000.000.000

— Постараюсь.

— Хорошо, только ты не оглядывайся, я переоденусь.

Ника, не оборачиваясь, махнул рукой и побежал к озеру. Вода и правда была теплая-теплая, как парное молоко. Он быстро окунулся с головой, переплыл на другой берег, повернулся, над ним висело густое облако тумана, и он увидел в узкой полоске чистого пространства между этим облаком и водой, как медленно, без единого всплеска, при каждом шаге чуть взмахивая руками, будто крылышками, входит в воду Неля.

Потом они плавали вместе. Она, оказывается, тоже хорошо умела плавать. Они снова устремились к другому берегу, Неля заплыла туда, где туман начинал ложиться на воду — и вот ее уже не видно, только звук ее голоса и смех доносится, кажется, откуда-то сверху, с самого неба.

Ника большими сильными взмахами разрывая полотно воды, подплыл к ней ближе, перешел на брасс, чтобы не ударить ее случайно — кувыркался перед ней, плавал дельфином, выпрыгивал из воды чуть ли не по пояс, снова штопором уходил на дно...

Туманная пелена быстро рассеивалась, и вдруг они оба, кажется, одновременно увидели, что солнце уже взошло. Именно здесь, в воде, Ника впервые посмел прикоснуться к ней. Неля то отплывала от него, то снова приближалась. Все это казалось каким-то чудом.

— Я даже не знаю... как сказать... — задышался от волнения Ника. — Мне так хорошо... у меня нет слов...

— Зачем говорить? — смеялась она. — Чудак, ведь и так хорошо. Словами все можно только испортить, зачем говорить? Ну зачем? Слова все лгут, в них правды нет, они только отображают... — она растянула это слово, — о-то-бра-жа-ют, понимаешь? И больше ничего. А оно и без слов всегда ясно...

Когда они вышли на берег, солнце уже светило вовсю. Неля кинула ему полотенце, снова приказала стоять к ней спиной. Он послушно повернулся и стал вытираться.

— Дай полотенце, — услышал сзади.

Не оборачиваясь, протянул его левой рукой назад. Неля рассмеялась.

— Ты очень хороший. Ты знаешь, что ты очень хо-



роший, или нет? Это хорошо, что ты ничего не знаешь. Я, наверное, дура, что тебе это говорю, слова лгут. Ты мне не верь, ладно? Никогда не верь, что бы я тебе ни сказала, только смотри и запоминай, что я делаю, на меня смотри, я и без слов могу.

Он обернулся и, увидев, как она вытирает голое тело, повернулся снова к озеру. Потом подошел к своей одежде, оделся.

— Можно обернуться?

— Можно, можно, — пропела она. — Давай, посади меня на нашего скакуна.

Конь, привязанный к дереву, мирно пощипывал траву. Ника подошел к нему.

— Ну вот, и ты тоже проголодался.

Он посадил Нелю на седло и отвязал уздечку.

— Пошли?

— Вперед, — скомандовала Неля.

Они снова выбрались на дорогу. Ника что-то начал ей рассказывать — он уже не помнил, что — как вдруг Неля вскрикнула:

— Быстро, быстро в лес обратно!

Ника дернул уздечку, резко развернул коня и побежал обратно к озеру. Послышался шум, и по дороге, к которой они чуть не вышли, протарахтела трехтонка — видно было, как люди в кузове то ли ругались, то ли пели, Ника не разобрал, — и вдруг с той стороны несколько раз прогремели выстрелы. Ника пригнул голову и еще быстрее побежал вперед, таща за собой коня.

— Это они, они, Ника, они нас обнаружили! Быстреей, миленький, быстреей! — кричала Неля.

Он взглянул на нее. Она обеими руками вцепилась в седло, вся почти белая — видно, от напряжения, — и только глаза у нее горели каким-то чудным светом, огромные, карие, такие красивые, такие любимые глаза.

Обогнув озеро, они снова нашли тропинку. Ника привязал коня, выбрал высокое дерево, залез на него и долго смотрел вокруг. В окрестности снова была тишина — видно, машина уже уехала в сторону Бахмаро: здесь это была единственная дорога, ведущая или к Бахмаро, или в Набеглави, больше некуда. И все же, когда Ника слез с дерева, то повел дальше коня осторожно и медленно, останавливаясь и всматриваясь вни-



мательно при каждом подозрительном шуме. Но все было спокойно.

Так они добрались до Набеглави, и здесь Неля повела его прямо к столовой, к огромному рачинцу-духанщику, который, оказывается, ждал их уже с самого утра.

— Куда вы пропали? Что так поздно? — волновался он.

— Мы купались в озере, — сказала Неля.

Рачинец сперва покачал головой в знак неодобрения, а потом рассмеялся.

— Конечно, как же можно было его обойти. Вы, наверное, голодные?

Ника молча кивнул. Тот завел Нику и Нелю в свою маленькую комнатку, сам принес две огромные тарелки хаши, хлеба, зелени.

— Кушайте, а я машину подготовлю, — сказал он и вышел.

А минут через пятнадцать старенькая «Победа» уже мчала их по направлению к городу Батуми — все ниже и ниже, туда, вниз, в неизвестность...

Официант открыл шампанское и налил им в бокалы. Ника взял стебелек тархуна и покрутил им в бокале. Шампанское вспенилось.

— Вот тут ты и попался, — сказала Неля. — С этой минуты все будут знать, что мы грузины, так только у нас делают.

Она сделала маленькие бутербродики с красной и черной икрой и положила ему на тарелку.

— Вот еще одно доказательство. Ты, наверное, уже отвык от того, что за тобой ухаживают.

Ника не ответил.

— Слушай, Неля, — спросил он минуту погодя, — а все же, как ты думаешь, кто в нас стрелял?

— Не знаю.

— До сих пор не знаешь?

— Нет.

— Это не в нас, — сказал Ника. — Просто кто-то стрелял, а мы с испугу подумали, что в нас.

— Да, — сказала Неля. — Может, ты и прав. Но наше бегство было так романтично, и это озеро, и этот

огромный рачинец, и хаши... А ты помнишь, как нас приняли в Батуми? Помнишь, да?

Ника промолчал.

— Как ты меня прятал, помнишь?

Стоял полдень, когда они въехали в город. Ника приезжал в Батуми уже не впервые — родители возили его сюда два раза, — но вот к морю он так и не мог привыкнуть, море всегда пленяло его как-то по особенному, притягивало, не давало оторваться. Неравнодушна к нему была и Неля — они наперебой показывали друг другу самые красивые места, корабли в море, все то, что, казалось, нельзя было упустить, не увидеть, не почувствовать. Постепенно их веселье передавалось и водителю «Победы». Когда машина проезжала мимо рынка, он спросил:

— Так куда мы все-таки едем? Адрес-то хоть знаете, беглецы?

Именно здесь, в эту самую минуту, Ника впервые ощутил, что он переступил уже невидимую черту — и за ней, за этой неуловимой границей начиналось теперь что-то новое, совсем иное в его жизни. Ответственность, которую он брал на себя. Слово, которое он и только он должен был сказать.

— Знаем, — ответил он. — К Пионерскому парку.

«Победа» довезла их до центрального входа в парк, шофер затормозил.

— Вот, — сказал он, — приехали. Только вот что я вам хочу посоветовать: от меня никто никогда не узнает, куда вы приехали, но Батуми — город большой, здесь все друг друга знают, а летом тут отдыхает пол-Тбилиси. Кто-то из ваших знакомых обязательно вас увидит, поэтому старайтесь по городу много не ходить — только на пляж и обратно. Так будет лучше. По крайней мере первое время, а потом уже сами разберетесь. Не надо ходить ни на базар, ни по аллеям гулять — там обязательно на кого-нибудь нарветесь.

Они долго благодарили своего водителя, потом попрощались и он уехал. Так они остались там, у входа в Пионерский парк, с рюкзаком и двумя сумками.

— А теперь? — спросила Неля. — Что теперь будет?

В парке было тихо, медленно прогуливались отдыхающие. Одна женщина, видно, местная, подошла к ним.

— Вы не квартиру ищете? Я могу помочь.

— Нет, — сказал Ника. — У нас тут родственники недалеко. Только я забыл, как отсюда пройти.

— Я тут всех знаю. Скажите хотя бы фамилию.

Он назвал, втайне надеясь, что она не знает.

— Халвашвили? — переспросила женщина. — Шота? Его здесь все знают. Он художник, да? Ну вот, значит, пройдете по парку, обойдете озеро и, — она показала рукой на дом, — вон там он живет. Справа второй подъезд, четвертый этаж. Вот и все...

В беседке перед домом Ника сбросил свою ношу, оставил Нелю на улице, а сам поднялся на четвертый этаж. Здесь его не ждали, но могли помочь, в этом он был убежден.

Дверь открыл сам Шота. Они обнялись, и после недолгих расспросов Ника рассказал ему, что с ним случилось.

— Вот что, — Шота задумался. — Прежде всего вам нужно жилье. Пойдем.

Вместе они вышли во двор, Ника снова одел рюкзак, Шота взял у Нели сумки, и минут через двадцать они уже поднимались на последний этаж пятиэтажного дома, где находилась мансарда для художников — огромное, на весь этаж, просторное помещение. Мансарда была поделена надвое — видно, здесь работали два художника. Шота повел их на левую половину — здесь, сразу за дверью, начинался маленький коридор, выходящий в огромный, увешанный картинами зал. В углу стоял большой мольберт, на нем — чистый холст.

— Вот и все, — сказал Шота. — Надеюсь, на первое время вам хватит. А теперь давайте пойдем, чего-нибудь поедим, а то у меня дома ничего нет. Заодно прихватим продуктов.

Шота ничего больше не спрашивал у Ники — ни как тот оказался в Батуми, ни что это за девушка Неля с ним вместе — он просто приглашал их пообедать.

— Спасибо, — сказала Неля, — спасибо вам за все, дядя Шота. Я с удовольствием принимаю ваше приглашение.

Когда они выходили из мансарды, Шота показал, как запирается дверь и отдал Нике ключи.

— У меня больше ключей нет, — сказал он. — И ни у кого больше этих ключей нет. Так что если захочешь меня увидеть, то позвонишь или придешь ко мне. понял?..

— Дядя Шота... помнишь? — спросила Неля. — Как он нас всегда подкармливал. Позвонит — и поведет куда-нибудь. И всегда любил, чтобы помидоры были на столе.

— Но никогда их не ел, — вставил Ника!

— Да, ты знаешь, я все это помню до сих пор и тоже стараюсь, чтобы у меня на столе лежали краснощекие помидоры. Они в самом деле украшают стол... Но, как и Шота, до сих пор их не люблю, — Неля рассмеялась. — А вот что он тебе за дядя, я до сих пор не знаю. Что-то вы тогда темнили.

— Дядя Шота? — Ника вздохнул. — Очень просто, он — мой названный дядя, вот и все.

— А разве так бывает?

— Значит бывает...

«Мне очень повезло с домом и семьей, — часто говорил себе Ника. — Все они у меня какие-то романтические и сумасшедшие. Мне просто жутко было бы жить без этого».

Дядя Шота пришел в их дом, когда Ники еще не было и в помине, а его будущая мать ходила пешком под стол — дед Ники взял тогда маленького Шота, своего крестника, на воспитание. Так и вырос Шота Халвашвили рядом с его шестерыми детьми, потом стал художником, переехал жить в Батуми, но своего крестного и его семью не забывал — родные люди друг друга не забывают.

И первым человеком, о котором Ника вспомнил еще в Бахмаро, думая, к кому он мог бы обратиться в случае побега, был дядя Шота.

Огромный, всегда веселый, с зарядом какой-то внутренней неутраченной любви ко всему окружающему, вдумчивый живописец. И когда Ника всмотрелся внимательно в его работы, висящие по стенам мансарды, просто стоящие аккуратными стопками лицом к стене, начатые и законченные наброски — его вдруг

поразило, какие задумчивые, невыразимо грустные, с какой-то неутраченной, глубоко затаенной болью внутри глаза были у людей на каждой из этих картин или рисунков. Еще тогда, в Батуми, он хотел сказать об этом своему названому дяде, но так и не решился...

— Знаешь, Ника, он, наверное, все такой же весельчак, как и раньше?

— Да, он не изменился.

— И все-таки... знаешь, мне еще тогда показалось — какая-то у него боль в душе, большая и давняя... Только ты лучше его не спрашивай об этом. А если увидишь, передай от меня большой привет и поцелуй.

Ника предложил тост за дядю Шота, они выпили. После этого говорили уже о другом...

Да, Неля была права, было у дяди Шота большое горе. Ника об этом знал, хотя у них в семье это была одна из запретных тем. Об этом старались не говорить: у Шота был брат Аполлон, который, говорят, тоже хорошо рисовал и был, может быть, даже талантливее своего брата. Потом он стал убийцей, бандитом, и тот суд, на котором Шота и их мать отказались от него, все они теперь хотели бы вычеркнуть из памяти, хотели и не могли...

«Так и есть, — думал Ника, — что бы ни творил каждый человек, пишет ли он музыку или стихи, рисует или лепит — везде он так или иначе выражает свою собственную боль, как бы ни пытался ее обойти, что бы ни изображал. Все его страдания и радости, все его отношение к жизни передаются тогда другим людям через его работу вольно или невольно, и только там, где есть это сопереживание, начинается настоящее искусство. Ведь если у меня самого не болит то, о чем я пишу, если я сам при этом не радуюсь и не печалюсь, мой читатель останется равнодушным, а равнодушие — самое большое зло на свете...»

Неля наполнила бокалы.

— Ника, разреши.

— Да-да, — сказал он, — ты извини, я никудашный кавалер. Просто задумался...

— Ник, не уходи от меня, а? — попросила она. — Хотя бы сейчас не уходи. Хочешь потанцуем?

— Да, — Ника встал. — Я вас приглашаю. Разрешите?

Он поклонился ей как-то церемонно, Неля приняла его приглашение, и они пробрались через столики к площадке перед оркестром.

— Ник, я сейчас сидела... ты знаешь, как будто совсем не было всех этих лет. Я тебя таким и запомнила в наш последний день... Знаешь, я все хотела тебя увидеть, я знала, где ты живешь, иногда даже проходила мимо тебя — ты ведь, когда идешь, не замечаешь никого и ничего, тебя можно даже ущипнуть на улице... Знаешь, я до сих пор не могу себе простить того, что я это все...

— Не надо, — сказал Ника, — Зачем?..

— Ну да, конечно — зачем? — ответила Неля. — Я же знаю, что незачем, но знаешь, вот мы с тобой так давно... мы с тобой всю жизнь не виделись, и я... я хочу знать, ты на меня сердишься? Ты помнишь, как нас накрыли? Боже, какой был ужас, и я, как дура, все ревели и не могла успокоиться. У тебя был такой вид, я... я не могу, знаешь, вот прошло столько времени, но я не могу тебе не сказать, Ника, я должна...

— Не надо, Неля.

— Нет, я скажу тебе, это я, я виновата во всем.

— Не надо, Неля, я же не спрашиваю.

— Нет, ты должен знать... На третий день я... в тот день, да, когда, помнишь, ты играл в футбол, и я сказала, что пойду домой приготовлю ужин, вот тогда я зашла на почту и позвонила. Я сказала, что... Позвонила домой и сказала, чтобы они не волновались, понимаешь? Я виновата во всем, я все эти годы хотела тебе об этом сказать, а потом они узнали, откуда я звонила, а найти нас в Батуми было очень просто. И ты знаешь, я с тех пор только два дня помню очень хорошо: это первый день, тот час, когда мы втроем вернулись из ресторана и дядя Шота проводил нас до подъезда, чинно попрощался с нами, оставил свой домашний телефон и ушел. И еще день, когда они пришли. Ты помнишь?

Ника не ответил. Есть вопросы, на которые отвечать нельзя. Любой ответ покажется глупым.

...Первый день. Удивительно светлый, радостный, всеобъемлющий, вобравший в себя чуть ли не всю его предыдущую жизнь... Рассказать этот день от начала и до конца — и поймешь, кто такой Ника, как он жил, что любил, что ненавидел, к чему стремился, что знал и чего не знал. Такие дни бывают раз в жизни, дни легендарные, невообразимые, — урок жизни, который можно получить за один такой день, в другое время растягивается на несколько лет. Ты никогда уже его не забудешь, ведь ты узнал тогда, в этот день, о себе что-то заветное. долго скрываемое внутри, пронизавшее тебя вдруг неведомой радостью.

День начинался рано, очень рано — в густом, насыщенном растворе смеха, пронзительной печали, радости и малых огорчений. Дядя Шота проводил их до двери мастерской, попрощался, оставил свой домашний телефон и ушел, Ника открыл входную дверь.

— Мир этому дому, — произнес он, входя.

За ним вошла Неля. Он закрыл дверь, положил ключи на стоявший неподалеку мольберт и огляделся — в зале, куда они вошли, были еще две двери, одна вела в маленькую спальню, вторая — на кухню. У окна стояла большая тахта, в углу лежали их сумки и рюкзак.

— Ну что? — спросила Неля, взглянув на Нику с какой-то хитрецей. — Будем спать?

Ника молча подошел к рюкзаку, достал оттуда зубную пасту, щетку, полотенце и пошел в ванную. До сих пор все шло у них как бы само собой, и вот сейчас, когда они остались вдвоем и ничто уже им не мешало, ему вдруг стало как-то не по себе, и он отправился умываться, подсознательно оставляя за Нелей право самой решать, что будет потом.

Закрыв за собой дверь, он разделся, включил воду и долго стоял под сильной теплой струей. Вытираться не стал, просто обмотал себя полотенцем — и несколько минут еще не решался выйти... Случайно заметив в зеркале свое отражение, он с каким-то недоверием осмотрел это длинное и худое, почти тощее тело, все в капельках воды, сомнительной красоты лицо с неуместно большим носом, чуть выпуклыми глазами и непокорным ежиком волос. «И как она могла?..» — произнес он неожиданно вслух. Звук собственного го-

лоса словно разбудил его — он вытерся насухо полотенцем, медленно оделся и вышел. Первое, что ему бросилось в глаза, был четкий, какой-то чисто женский порядок, наведенный в мастерской — тахта была расстелена, рюкзак и сумки куда-то исчезли, стол, как видно, только что протерли мокрой тряпкой.

— Ну Неля, молодец...

А, собственно, где она?.. Он только сейчас заметил, что в комнате ее нет. Не было ее и на кухне, хотя там горел свет и на кухонном столе был накрыт ужин — нарезанный хлеб, сыр, масло, помидоры, два чайника, маленький заварочный и большой с кипятком — из носика еще шел пар. Значит, она только что была здесь. «Наверное, ушла в спальню», — подумалось ему. Он снова вернулся в зал, остановился в нерешительности возле двери маленькой спальни, почему-то плотно прикрытой, потом постучал. Оттуда послышался какой-то невнятный звук, он постучал еще раз.

— Кто там? — спросил неестественно сонный голос Нели. — Я сплю.

Ника потрогал дверь — она была заперта изнутри.

— Неля, это я! Кто еще может быть?

— Хорошо, что ты постучал. Ужин на столе в кухне. И постель я тебе постелила, видишь?

— Вижу, — ответил Ника.

— Ну вот, ужинай и ложись. Спокойной ночи, — прозвучал снова ее голос, и за дверью все стихло.

— Неля, ты что?.. — вырвалось у Ники.

— А что? — послышалось за дверью. — Разве я тебе еще что-то обещала?

Его словно ремнем хлестанули ее последние слова, даже озноб по коже прошел.

— Спасибо за ужин, спокойной ночи, — выдавил он из себя и отошел от двери.

Ему было нестерпимо стыдно и больно за себя. Ника сел на тахту, разделся и залез под одеяло. Наверное, ему легче было бы сейчас выскочить на улицу, переночевать где-нибудь в сквере, но делать этого было нельзя, ведь он нес теперь ответственность и за Нелю, и за свои собственные поступки.

И все-таки, что-то тут было не так. Он не понимал, что именно, но пересилить себя было необходимо, это совершенно ясно. Он положил ладони под голову, за-

крыл глаза и постарался отключиться от всего. За окном слышался шум затихающего города, на кухне журчала вода. Ника заворочался, встал, влез босыми ногами в ботинки, прошел в кухню. Закрутил кран, вернулся обратно, снова лег. Он уже немного успокоился, когда вдруг его снова словно подбросило — за стеной, в маленькой спальне послышался скрип кровати и шарканье домашних тапочек. Видно, Неля встала с постели и подошла к двери.

— Ника, ты спишь? — послышалось оттуда.

— Нет.

— Ты очень на меня сердишься?

— Нет.

— Ну ты пойми меня. Ведь я не могу...

Ника не ответил.

— Нет, ты сердишься, — снова подала она голос.

— Нет.

— Ну хочешь, я к тебе выйду и мы поговорим?

Тишина. Ника лежал, не двигаясь.

— Ты... — снова послышалось из-за двери. — Ты можешь мне обещать?..

Он снова ничего не ответил, только напрягся весь. Где-то на шее колотился пульс. За дверью послышался шорох, скрип, потом щелкнул замок, дверь тихонько приоткрылась.

— Ника, — сказала Неля.

— Что? — еле выдавил он из себя.

Голос почти пропал.

— Тебе плохо?

— Нет.

Неля подошла к его тахте и села.

— Ты какой-то чудной, — сказала она.

Он лежал, вытянувшись на тахте, руки за головой. Она кончиками пальцев дотронулась до его руки. Снова озноб прокатился по всему его телу.

— Я понимаю, — сказала Неля, — это смешно, мы с тобой сбежали вдвоем, а я сейчас от тебя запираюсь. Но ты сам пойми, ну как... как мне поступить, скажи? Ведь ты мужчина, ты сильный, ты должен знать.

— Да, — сказал Ника.

Сказал, хотя сам сомневался и в ее словах, и в том, каким, по ее словам, он должен быть.

— Ты ужинал?

— Нет.

— Хочешь, вместе поужинаем? Знаешь, я после ресторана опять захотела есть.

— Хочу.

— Ну пойдём?

— Только отвернись, — сказал Ника, — я оденусь.

— Тогда я тоже оденусь.

Она была в своем коричневом халате, накинутом поверх ночной сорочки.

— Нет-нет, ты... я не то хотел сказать. На минутку... — попросил ее Ника как-то смущенно.

Как он мог сказать ей, что лежал под одеялом совершенно голый, привычно сняв с себя все перед сном, — он не мог спать ни в носках, ни в трусах, ни в какой угодно рубашке, только так. Но Неля, кажется, поняла все без его объяснений и, засмеявшись, отвернулась.

— Не забудь фрак надеть, — посоветовала она.

Он быстро натянул брюки, заправил рубашку. Через минуту они уже сидели друг против друга за кухонным столом, а Неля разливала и подавала на стол чай.

— Вот видишь, Ника, — говорила она, — все же как тяжело быть женщиной. Я тебя и укради, и накорми, и постель постели, а потом от тебя же еще и скрывайся. Как тебе это нравится, а?

Но его уже не пугали ее слова, и он смеялся вместе с ней. Потом Неля начала делать бутерброды, но он остановил ее:

— Нет, не так, подожди...

Он сам намазал хлеб маслом, покрошил сверху сыр, положил несколько листиков зелени, — сделав так четыре бутерброда, он положил их в духовку и зажег газ.

— Сейчас увидишь, что получится.

Подумал немного, взял лимон, нарезал тонкими ломтиками и украсил ими бутерброды.

— А теперь подождем.

Они оба сидели на корточках перед духовкой и смотрели, как подрумянивается корочка хлеба. Растаявшее масло уже шипело, сыр тоже растаял и слегка вздулся.

— Я думаю, уже все, — сказала Неля, когда из духовки пошел густой аппетитный запах.

— Я думаю, тоже.

Он открыл духовку, быстрым движением вынул бутерброды и положил их на большую тарелку.

— Кто тебя научил их делать?

— Старший брат, — с гордостью ответил Ника. — Я просто видел, как он делал для своих гостей. Это очень быстро — можно и с рыбой, и с чем угодно.

Обжигаясь, они начали есть.

— Ой, подожди, — вспомнила Неля, — у нас же есть еще бутылка вина.

Она достала из своей сумки бутылку «Киндзмараули» и отдала Нике. Сняв красный пластмассовый колпачок, он увидел пробку. Но ни на столе, ни в ящике для вилок и ложек штопора не оказалось, и он, зажав бутылку между колен и держась рукой за горлышко, надавил сверху пальцем, пробка медленно тронулась.

— Будет у нас вино с пробкой, — торжественно сказал Ника.

Он продавил ее до конца и разлил вино в маленькие пузатые рюмочки, стоявшие в кухонном шкафчике за стеклянной дверцей.

Тосты произносили по очереди. Потом снова пошли спать. Ника проводил ее до постели, долго сидел у изголовья. Потом она встала, провела его в зал, потушила свет и тоже долго сидела рядом.

О чем они тогда говорили? Он совершенно этого не помнил. Запомнилось только, что с каждым разом, как они переходили из комнаты в комнату, он все больше и больше пьянел от нее, он уже не мог, не смел ее отпустить, не могла отойти от него и Неля.

Вдруг она сказала:

— А хочешь, я чуть-чуть полежу с тобой. А потом, когда ты уснешь, я уйду. Только...

— Да, хочу, — сказал Ника, и она легла.

Он держал ее за руку, потом почувствовал близко ее дыхание, провел пальцами по ее лицу — оно было мокрым.

— Я... я... ты только не думай, — говорила Неля. — я не плачу, нет... — и все сильнее и сильнее прижималась к Нике, и он тоже обнимал и целовал ее, цело-

вал уже по-настоящему, без боязни, без прежнего стыда и недоверия к самому себе.

Невозможно сказать, сколько прошло времени — кажется, они еще долго ласкали друг друга, все кружилось в тишине — потом сразу, без всякого перехода зазвонил телефон. Ника очнулся, осторожно отодвинулся от Нели, потянулся к трубке — было уже утро, и дядя Шота звал их на хаши...

Потеряв всякий счет дням и часам, Ника уже не смог бы вспомнить больше ни одного их дня — вплоть до того самого момента, когда он в первый раз оставил Нелю одну. Они возвращались тогда с пляжа, и он, недавно познакомившись с местными ребятами, вызвался поиграть с ними в футбол в Пионерском парке. Неля какое-то время сидела поодаль, наблюдая за его игрой, а потом сказала, что пойдет домой, приготовит обед — ему было тогда, он это вспомнил, почему-то боязно отпустить ее от себя, и все же...

Утром их разбудил незнакомый, требовательный, чужой, враждебный стук: барабанили в дверь! Они лежали вместе, обнявшись во сне, и этот стук торопил, требовал, отдирав их друг от друга беспрекословно и настойчиво.

Ника встал, натянул шорты, посмотрел на Нелю.

— Не открывай, — прошептала она, надевая халат.

Стук повторился — еще настойчивее и сильнее.

— Не открывай, — шептала Неля, держа его за руки и умоляюще, даже как-то заискивающе заглядывая ему в глаза.

— Ты что? — сказал Ника. — А может...

— Нет, это не дядя Шота, я знаю, это что-то плохое, что-то ужасное, Ника. Только ради бога не открывай, Ника, я не могу, Ника, ради бога, я тебя прошу...

Она начала плакать. Он высвободился из ее рук, подошел к двери.

— Кто? — спросил он и, не дожидаясь ответа, открыл дверь.

Их было пятеро, трое женщин и двое мужчин. Одну из них Ника узнал сразу.

— Да, — с торжествующим видом произнесла женщина под его пристальным взглядом, — я мать той несчастной, которую вы... — властным движением отстра-

нив парня, она вошла в мастерскую. За ней прошли /
остальные.

— Где она? — кричала женщина. — Где вы ее спрятали?!

— Мама, не устраивай истерику, не надо, я тут, — раздался тихий, какой-то очень спокойный голос Нели, и Ника увидел, как она выходит из спальни, одетая в то самое платье, которое всегда ему нравилось, — голубое, с белыми вкладышами и тонким белым кожаным пояском.

— Успела, — недовольно проговорила женщина. — Вначале хоть бы постель за собой прибрала, бесстыжая.

Поморщившись, она демонстративно отвернулась от расстеленной тахты.

— Ты был такой красивый в тот день, Ника, — сказала Неля, положив голову ему на грудь. — Ты... я даже не знаю, как это передать... весь бледный, чуть впалые щеки, на руках вены вздулись от напряжения... стоял молча, не двигаясь, и смотрел, как распалется моя мама. Я тебя таким и запомнила, и до сих пор таким помню... Дура я была, идиотка. Помнишь, ты сказал: оставайся. И ещё раз повторил: оставайся. И столько всего было в этом слове, я такого никогда больше ни от кого не слышала, ни до тебя, ни после, никогда... я дура...

...Их закрыли в спальне на время переговоров. Мать Нели настаивала на том, чтобы забрать ее сейчас же, подав, естественно, в суд на развратника и истязателя ее невинной девочки.

— Не уходи, — сказал тогда Ника.

— Нет, понимаешь, я пойду с мамой. Пойду, а потом вернусь. Знаешь как: ты приходи к нам домой, как полагается. Я ведь тоже хочу выйти замуж, как все выходят, понимаешь? Ты приходи, и все будет хорошо. Только я сейчас поеду, ладно? Потому что иначе нельзя...

Она говорила что-то еще, приводила убедительные доводы. Ника слушал и не слышал ее.

— Если ты уйдешь, то это навсегда. Нам больше

не встречаться и вместе никогда не жить, — хрипло выдал он из себя.

И все закрутилось, как в плохом водевиле, Ника уже не помнил, как вышла Неля, как они все ушли. Остался лишь один, врезавшийся на долгие годы, застывший в памяти кадр: Неля стоит между матерью и дядей, сзади маячит голова ее тети... Неля стоит, улыбается как-то неестественно, занскиваяюще и виновато, и говорит, говорит...

— Я должна, понимаешь? — говорит она. — Я пойду, ладно? Только ты приходи. Ну, всего тебе хорошего.

— До свидания, — отвечает он.

Она тянется его поцеловать, он отшатывается.

— Нет!..

После этого он не помнит ничего.

...Ника очнулся только тогда, когда его разбудил дядя Шота. Или он не спал?.. Словно провалился в беспмятство...

Потом приехал дядя Шалико, доставший ему эту злополучную путевку, потом они вместе вернулись в Тбилиси... все это было потом...

Танец кончился. Ника отвел Нелю к столику.

— Давай, поднимемся ко мне, — сказала она. — Мне здесь надоело: и музыка не та, и вообще... и кухня здесь тоже испортилась. Все как-то не так.

Он понял ее.

— Да... да, ты права, — сказал он.

Взглянул на официанта, тот мгновенно подошел. Ника расплатился. Неля взяла свою сумочку, и они такой же медленной и величественной походкой вернулись обратно в номер.

— Контрабанда ты моя, — засмеялась Неля, взъерошив ему волосы. Она оперлась о его руку, сняла обувь и влезла в домашние тапочки. — Подожди, я сейчас.

Взяв телефон, она быстро набрала код другого города и через минуту уже разговаривала. Говорила, что в Ленинграде скучно, что кормят плохо. погода промозглая... что встретила школьного товарища... говорила, где, что и когда купила, что денег осталось совсем...

да почти что ничего... да-да, соскучилась, скоро придет
домой, обратно...

Это была Неля — но не та. Да, по-своему красивая и обаятельная... женственная... и совсем не та, лишь отдаленно напоминающая ту, которую он любил, которая оставила его тогда, которая предала... Пусть кто угодно скажет, что это никакое не предательство, что она просто хотела быть как все, и Ника же сам ее тогда не принял, не смог простить, что она уезжает от него только потому, что так надо... чтобы потом, когда-нибудь, как-то по-другому, так, как это принято...

Ему до сих пор не все было ясно и в самом себе — но в том, что это было именно предательство, он был убежден все так же твердо.

«Да... наверное, правду говорят, что в одну реку нельзя войти дважды... вот я попробовал, и ничего не вышло, все правильно...»

Ника встал. Неля поманила его рукой, нагнула к себе, взяла его руку и прижала к свободной щеке, не прерывая телефонного разговора.

— Я туда, — проговорил Ника, — я...

Он показал на дверь ванной комнаты.

— Да-да, — кивнула она и, слегка пожав его руку, отпустила.

Он наклонился, коснулся губами ее волос. Повернувшись, вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь. Вошел в ванную, пустил воду, потом выглянул и прислушался. Неля все еще разговаривала... Он тихо открыл входную дверь, немного придержал ее, чтобы она не хлопнула, прошел коридором к лифту.

Через минуту он уже шел, минуя стойку администратора, мимо низких кожаных кресел и столиков и чинно стоящего швейцара, и через открывшуюся перед ним автоматически прозрачную дверь — туда, где нескончаемым потоком неслись и неслись машины...

Перевод автора



И ТЫ, КАК ВСЕ

РАССКАЗ

Время действия: сегодня и тогда.
Место действия: город.

Он вернулся.

Все было по-старому. Все — на своих местах. Он и сам видел это. Он сознавал, что вернулся, хотя не мог прочувствовать это. Не мог прочувствовать, поскольку не узнавал себя. И город не узнавал его, как будто и не знал вовсе. Кто забыл его, кто отвернулся, кто проклял. И сейчас он стоял на улице невидимкой: никто не замечал его, а он видел всех. Но главное все же было в другом. Он вернулся, вернулся оттуда! А это возвращение вселяло какую-то надежду. Кто знает!

Шел дождь.

У дождя были тонкие пальцы.

Сапоги и без налипшей грязи были, как стопудовые. А с грязью, поди, походи в них. Он стряхнул ее прямо в подъезде, Стряхнул с шумом, не стесняясь соседей. Все равно ведь на него смотрели с подозрением, — никто не ждал от него хорошего. Он медленно поднимался по лестнице, никуда уже не спешил. Он давно опередил время. И теперь давал ему шанс догнать его.

Ключ не подчинялся, он нервно терзал ручку. Попытался еще раз, ключ мягко повернулся, и дверь поддалась. В лицо ударила музыка, сотрясла его, чуть не сбила с ног. Она завладела всем домом в его отсутствие. Успела пролезть во все щели. Наглая.

Он присел на стул, снял грязные сапоги и направился с ними в ванную. Из зеркала в передней на него глянуло обросшее лицо. Он прошел четыре комнаты, уставленные антикварными вещами, миновал кабинет — на мгновение мелькнул пожелтый плакат на стене. Дернул ручку, дверь бесшумно отворилась.



УДК 82.01
900000

Она сидела спиной к двери, красила глаза.

— Это ты? — спросила, не поворачиваясь.

Он не спешил с ответом. Уменьшил звук магнитофона.

— Почему он орет?

Вернулся к двери. И только тогда ответил гостю. Запоздало.

— Я, кто же еще!

Хотя сам так не считал.

Она повернулась. На ней была голубая мужская сорочка. Она нравилась ему в ней, дразнила, волновала.

— Надень что-нибудь!

— Ничего другого я не нашла. Я постираю потом.

— Там в шкафу халат твоей подруги. Надень его.

Он позволил.

Она пошла к шкафу, а он продолжал стоять у двери. Она шла очень медленно, казалось, никогда не дойдет. В ушах у него зазвенело. Ее движения еще более замедлились. Она чувствовала, ситуация напряжена, и еще более накаляла ее, как будто сознательно. Звон в ушах усилился. А она уже почти не двигалась. Напомнила ему однообразие дней, однообразие — те места, те места — пережитое и передуманное. Откуда-то ворвался звук шагов. Кто-то бежал. Чем медленнее двигалась она, тем быстрее кто-то бежал. Дом сотрясался, голова раскалывалась, кто-то бежал. Очень быстро. Отчаянно.

Звук шагов заглушил все шумы, даже звон в ушах.

Эпизод первый.

Город. Улица. Ночь.

Парень бежал. Его шаги сотрясали улочку, пробуждали от сна. Сам он не слышал их, ему казалось, он бежит бесшумно, почти не касаясь земли. Прислушивался к чужим шагам. Его преследовали.

Улочка спала. Она была узкой и в конце упиралась в стену. Преследователи нагоняли его. Он должен спрятаться где-нибудь, попросить у кого-нибудь приюта — другого выхода нет. Но тому, кто в беде, в городе редко открывали дверь. Даже днем. Он хорошо знал это, не раз испытал на себе. Тяжелое дыхание преследователей слышалось все ближе. Они перешли на шаг, успокоились — уйти ему некуда. Охота продолжалась. Улочка упиралась в стену. Парень был обречен.

Он вбежал в первый же подъезд, остановился у первой же двери.

Грохот в дверь.

Пауза.

Голоса преследователей.

Снова грохот в дверь.

Наконец дверь приоткрылась, насколько позволяла цепочка. Лица почти не разобрать.

— За мной гонятся!

Всего три слова.

Его впускают. Беглый взгляд на женщину, без интереса. Тихо спрашивает:

— Ты одна?

— У тебя кровь на руке. Не запачкай меня.

— Сейчас смою. Бинт найдется?

Глазами ищет ванную. Догадавшись, она ведет его туда, включает свет. Он открывает кран, подставляет руку под струю.

— Ты одна? — спрашивает во второй раз.

— Если хочешь, останься. Сейчас принесу бинт.

Парень не отвечает. Она выходит, закрывает дверь и поворачивает ключ в замке. Шум воды заглушает щелчок замка. Кровь как будто приостановилась. Он закрутил кран. Поднял руку. Думая, что дверь прикрыта, потянул за ручку. Потом решил, случайно захлопнулась — замок виноват. Не мог поверить, что его предали вот так, не разобравшись. И все-таки он боролся с дверью. Пытался выбить плечом. Но ничего не получалось.

Из коридора донесся шум, громкий разговор. Нервные мужские голоса и сравнительно ровный женский. Они все ближе к ванной.

— Он там. Я заперла его снаружи.

Они уже у двери, вот-вот откроют ее. Он озирается, инстинктивно пожирает глазами стены в поисках окна. Хватается за соломинку. Но он в склепе, холодном белом склепе. С низким потолком.

Он знал, что его ждет. Теперь уже не давал открыть дверь, вцепившись в нее здоровой рукой. Хотя и понимал, что долго не продержится, что под конец его все-таки одолеют. А боль в раненой руке не отпускала. Ломота усиливалась. Здоровая затекла, он уже не чувствовал ручки. Силы оставляли его.

Когда его уводили, женщина стояла у двери, как ни в чем не бывало, словно провожала его.

Город редко открывал двери тем, кто в беде. Он еще раз убедился в этом. В который раз — сбился со счета. Звук шагов замер...

Она стояла у шкафа, разглядывала одежду. Медленно расстегивала пуговицы на рубашке, нарочито медленно. Сняла и бросила тут же на кровать. Осталась совершенно голой.

— Чего смотришь, он будет тебе впору.

Он слышал свой голос как бы издалека.

Она надела халат. Повернулась к нему.

— Идет мне? Мы ведь с твоей женой подруги детства и во многом походим друг на друга. Разве не так?!

У него было ощущение, будто он только что вошел в комнату. Поэтому не обратил внимания на ее слова — посчитал, сама с собой разговаривает.

— Я пошел в ванную. Свари мне кофе!

Тихо прикрыл дверь. Он не любил шума, вообще никакого.

Она выключила магнитофон. Уперлась локтями в столик перед зеркалом. Уставилась на свадебную фотографию, приклоненную к зеркалу. Увидела себя среди свидетелей. Выходя из комнаты, резко остановилась на пороге, вернулась к магнитофону и включила его на полный голос.

Она стояла в прихожей, большой и красивой. Разглядывала ее, хотя прекрасно знала, что где стоит и что сколько стоит. С нее все и началось. Сперва она полюбила комнату, потом ее хозяина. Впрочем, любила ли она его? Она никогда не задумывалась над этим. Она знала, для него она существовала лишь пять минут, только это время принадлежало ей. Остальное не интересовало ее. Другого удовольствия ей не надо было. Она и не искала его. Все ей было безразлично. Она отдалась течению и ничего не ждала от жизни. Об ошибке не думала. Ошибка была уже в прошлом. Осудить ее мог лишь тот, кто не был способен на худшее. Зеркало вывело ее из задумчивости. Халат ей шел, был в самый раз. Она знала, что такое красота, поэтому не считала себя виноватой.

К счастью, в кухне нашелся растворимый кофе, ей лень было молоть его. Зазвонил телефон. Она не спешила подходить. Поставила кофе на огонь и только потом сняла трубку.

— Моется... скоро... передам...

Она вернулась к кофе.

В кухню вошел парень. С полотенцем на голове. Он так и не побрился.

— Опять он орет? Сколько раз можно говорить!

— Я забыла.

Солгала...

— Пойду, уменьшу звук.

Он прошел в кабинет, сел за стол. Она внесла кофе.

— Сигарету хочешь?

— Пока нет.

Он поставил чашку на стол. Подержал ладонь над паром, потом обхватил ее обеими руками, отпил.

— Кто-то звонил тебе. Перезвонит. Я сказала, ты можешь.

— Почему ты сняла трубку? Тоже забыла?

— Механически. Не выношу телефонных звонков. Кажется, опять звонят.

Кабинет. Телефонный звонок. Их двое. Когда-то это уже было. Кожей он чувствовал что-то очень знакомое, давно минувшее.

— Да, это я... Да, был... Хороший камень. И фото, наверное, получится. Вечером заходи... Никого... Ладно...

Он вынул из пачки сигарету.

— Когда пойдешь к своим?

— Не знаю.

Он закурил.

— Я не мешаю?

— Нет, пожалуй.

— Я пойду. Дежурство заканчивается, надо узнать, все ли там в порядке.

— Как хочешь.

— Пойду оденусь.

Далекое приблизилось, стало осязаемым, осязаемым. И тогда тоже было так. Но тогда у него было все, даже семья. Короче, он жил нормальной жизнью. Так, как все. Страшное слово — «нормальной». Раздражает.

Если все повторяется, если все это уже когда-то было, должны позвонить в дверь. Как тогда.

Она вошла в комнату.

— Кажется, звонят в дверь!

Все повторяется. Рано или поздно повторяется...

Эпизод второй.

Город. Дом. Полдень.

Снова он и она.

И гости.

— Не выходи, я их быстро выпровожу.

Звонок повторился. Более настойчиво.

Он не спешил открывать. Взял со стула сумочку, записнул куда-то. Подошел к двери, посмотрел в глазок. Линза смешно уродовала гостя — голова казалась непомерно большой и оплывшей, глаза — громадными. Гости явно слышали его шаги. Прятаться не имело смысла. Он решил открыть.

— Это ты?! Заходи, чего стоишь?

Перевел дух.

С гостем были две девушки. Хозяин провел их в гостиную.

Гость: — Вот решил заглянуть к тебе. Ты что, скучаешь?

Он разглядывал своих гостей. Вернее, девушек. Гость задавал какие-то вопросы: как мать, как жена. Девушки курили. Хозяин разглядывал их. А гость все говорил. У каждого была своя роль, каждый знал, как себя вести. Игра продолжалась.

Гость: — Что с тобой, ты что, бухой?

Он: — Пить будете?

Первая девушка: — Нет.

Вторая девушка: — Спасибо, я тоже не хочу. А чем вы занимаетесь? — Она соблюдала правила игры.

Он: — А ничем. Как насчет кофе?

Первая девушка: — Я не хочу.

Остальные отрицательно качнули головой.

Гость: — Ты один?

Он: — Да, а что?

Гость: — Ничего, потом скажу.

Раздался скрип, дверь кабинета открылась. На пороге появилась она, в халате. Напряженная тишина заполнила комнату. Никто не хотел нарушать ее. Ждали, что хозяин все объяснит. Впрочем, в объяснении не было нужды. Просто он и другим должен был дать возможность соврать, ему нравилась эта ловушка. Он знал, что скажет, но молчал, выжидая, как они выйдут из положения. Они же тщетно пытались найти рассеянные в воздухе слова.

Первая девушка нашла их.

— Я сварю кофе!

Он: — Моя жена. Садись.

Она села в кресло. Гости почувствовали себя неуютно. Какое-то время молчали. Под конец им надоело.

Гость: — Мы пойдем, зашли так, от нечего делать.

Сделал знак девушкам. Они поднялись.

Гость: — Вечером загляну.

Он: — Заходи, ребята тоже собираются.

Она сидела в кресле и курила. Он провожал гостей. Из коридора доносился неясный говор. Кто-то засмеялся. Потом дверь захлопнулась. Она ждала, когда он войдет. Довольная собой, готова была выслушать его упрек. Он молча вошел в гостиную и прошел в кабинет. Она последовала за ним. Он не замечал ее. Она опустилась в кресло. Пауза крайне затянулась. Она не выдержала. Заговорила.

— Почему не спрашиваешь, я ведь знаю, все равно не утерпишь и спросишь.

— О чем?

— Будто не знаешь.

— Нет смысла.

— Мне интересно, что ты скажешь.

— А что я должен сказать? Я попросил тебя, ты не выполнила моей просьбы.

— А тебя не интересует, почему?

— Нет!

— Странные у нас отношения.

— Неужели?

— И ты странный. Я не умею ссориться, и ты пользуешься этим. Пойду оденусь.

— Как хочешь. Тебе виднее.

...Она стояла над ним и удивленно смотрела на него.

— Что с тобой, ты не слышишь? Звонят в дверь, оглохнуть можно!

— Открой!

Ему уже нечего было скрывать.

Он повернул ключ и выдвинул ящик стола. Вынул из пачки папиросу, потянул за кончик и высыпал табак в ладонь. Затем вытащил из ящика вчетверо сложенный лист бумаги. Осторожно раскрыл его, высыпал содержимое опять в ладонь. Перемешав, набил смесью папиросу, закрутил кончик и закурил.

Комната наполнилась странным запахом. Он курил не спеша, жадно вдыхая дым, надолго задерживая его в легких. Тело наполнялось им, тяжелело. И эта тяжесть медленно ползла вверх.

Она вернулась в комнату.

— Я ухожу.

— Кто приходил?

— Никто, кого-то искали.

Дым пополз в ее сторону, подступил совсем близко, попытался обволочь ее.

-- Опять куришь?

— А тебе что?

— Ничего. Сегодня мои уезжают в деревню, могу остаться.

Прийти?

— Как хочешь.

Она вышла из комнаты не попрощавшись.

— Вечером позвони!

Крикнул он вслед. Из приличия.

Поднял руку, снял с полки первую же попавшуюся книгу, положил перед собой. И только тогда увидел, что это не книга, а семейный альбом. Класть на место не хотелось—лень было поднимать руку. Механически открыл альбом. По инерции. Без всякого интереса. В нем в беспорядке лежали фотографии родителей, их друзей. Он рассматривал свои детские фотографии без всяких эмоций, не связывая с какими-либо годами, не соотнося с возрастом, не помня ни ситуации, ни места. Карточки, как чистый лист бумаги, ни о чем не говорили.

Он по-другому увидел родителей. Их одежду, манеры, привычки. Впрочем, многого не понимал, многого не мог взять в толк. То были далекие годы, они оживали только в рассказах.

Он перевернул страницу.

На фоне моря — родители и незнакомый человек. Мужчина в широких брюках, мать — в пестром платье. Полуобернувшись, она смотрит на них. Смеется.

Его стала тревожить тишина. Заболела спина. Он закрыл альбом, выпрямился. Встал и вышел из кабинета. Вернулся с магнитофоном, положил его в кресло. Включил. Сам уселся в другое и закурил. Музыка не мешала ему. Без музыки было тревожнее.

Фотографии в альбом клеила мать. Иногда рассматривала их вместе с друзьями. Мать была счастливее его, она лишь сейчас начинала жить воспоминаниями. А он уже давно живет ими. Только альбома у него нет.

Фотография преследовала его, не отпускала. И море не давало покоя. Дым вился вокруг шеи, тащил куда-то за собой. Музыку он уже не слышал, она оставалась где-то там, за порогом сознания. Казалось, нечто подобное уже было. На миг



всплывало мужское лицо, неясное, расплывчатое. Затем музыка брала верх над дымом, и он возвращался в комнату. Так повторялось несколько раз. Рассудок метался, и он метался вместе с ним. И снова как будто припомнилось мужское лицо, он смутно узнавал его, но в последний миг все ускользало, пропадало вместе с недосыгаемым детством. Музыка навевала безотрадные картины. Музыка он помнил, ее трудно было забыть. И море помнил. Море и лодку. Главного не хватало. Кто-то третий должен был связать воедино разрозненные части картины. А он испарялся, улетучивался.

Его утомила борьба с самим собой. Он решил отступить. Борьба оказалась неравной, сопротивляться было нелегко. Нечто, сильнее него, увлекало, тащило за собой.

Тоска по детству взяла свое.

Море с шумом ворвалось в дом. Выломало двери и окна, окатило волной. Потом, брызжа пеной, взломало дверь кабинета и замерло на пороге. Кто-то раскрыл шезлонг и сел греться на солнышке. Кто выходил из воды, кто переодевался. Наверняка к соседям протечет, подумал он.

Но море было настоящим. И камни. И солнце. И все это слегка покачивалось перед самой обыкновенной комнатой.

Он верил в реальность этой картины.

...Мальчик бросил взгляд снизу вверх. Ему надоело идти, держась за руку. Он попытался высвободиться. Время от времени тянул руку вниз. Мужчина смотрел вперед. Выполняя просьбу родителей мальчика, он шел, стиснув маленькую ручку в своей широкой ладони. Мальчик никак не мог освободиться. Со злостью бил ногой по камням. У мужчины была потная ладонь.

Они стояли на берегу.

— Ты видел море вблизи?

Мальчик удивился.

— Мы с папой вместе плаваем.

— Ты с папой?

Он кивнул.

Наконец мужчина отпустил его руку.

— Иди, играй.

Он не понял, с кем или с чем ему играть. Кроме камней, вокруг ничего не было. И все же он послушался мужчину. Ради папы. Стал перебирать камни. Мужчина сидел неподалеку. Курил.



УДК 82(02)
808(08)0000000

Он позвал его.

— Ты и твой папа когда-нибудь разговаривали с морем?

Мальчик молчал.

— Пошли!

Потом они сидели в лодке. Мужчина что-то рассказывал ему. Остальное стерлось в памяти. Воспоминание было написано акварелью. Какая-то девушка, незнакомая, мокрая, прошла по нему у самой кромки воды. Вытерлась полотенцем. Акварель испортилась, краски расплылись, смешались...

Сигарета почти догорела в руке. Он бросил ее в пепельницу. Море пропало, как будто его и не было. Ничто в комнате не напоминало о его недавнем присутствии. И соседи вели себя спокойно. Никто не кричал, никто не ломился к нему в двери. Он продолжал сидеть в кресле. И все же море сделало свое дело. Смыло накопившуюся грязь, и он увидел все в ином свете.

Время, когда у него все было, время, когда все были рядом. Время, когда он жил, как все. Нормально. Он как будто заново научился вспоминать. Как будто к нему только сейчас вернулась память. Желание влекло его за собой, засасывало. Спротивляться ему не имело смысла. Да и сил на это не было.

И он последовал за ним.

Рассвело.

Он уже не спал. Не любил вскакивать с постели. Долго прощался со сном. Поднял глаза — в потолке отражалась комната с часами. Часы казались большими, больше чем обычные. Пора было вставать. Он сел в постели, привыкая к свету.

Город просыпался, ежился, протирая глаза. Выкуренные за ночь сигареты душили его, царапали горло. Он кашлял и все же упрямо продолжал курить натошак. Наполнял, пропитывал дымом собственные улицы.

Парень жадно втягивал в себя воздух. Он любил запах бензина. Как замороженный смотрел на город. Машины заполнили улицы. Шли вплотную, лизали друг друга. Прилепленные друг к другу, не умещались на улице. И как будто не двигались, казалось, замерзла пестрая река. И улица, казалось, стала на месте.

— Закрой, а?

Слышен сонный женский голос. — Который час?

— Для тебя еще рано, спи.



В коридоре — неприятный запах. Для него неприятный. Знакомый с детских лет, раздражающий. Никто не чувствовал его. Он никак не мог найти, с чем сравнить его. У запаха не было ни вкуса, ни цвета. Он напоминал заспанную женщину. Еще не проснувшуюся. С опухшими глазами. Он тогда прятал от всех глаза. Даже от матери. Дух был сильнее любви.

Возле ванной он столкнулся с отцом, тот потирал щеку — порезался во время бритья.

— Не можешь одеть брюки?!

Отец был в плохом настроении.

— Доброе утро.

Он закрыл за собой двери. Проверил задвижку. Она плохо работала в последнее время. Вытер запотевшее зеркало. Глаза у него были воспаленные. Он объяснил это бессонницей. Плохо спит ночью, не выносит жары. Шум воды убаюкал его.

— Выходи, все остыло!

Стук в дверь вывел его из дремоты.

Отец сидел за столом. Ждал его.

— Ты опять не одет?

— Жарко.

Отец бросил на него долгий взгляд. Он знал, еда не пойдет ему впрок. Встал из-за стола и вскоре вернулся. В брюках!

— Ты одел мои!

— Да.

Краткий ответ.

— Я должен с тобой поговорить.

В детстве он всегда уступал отцу. Боялся его. Потому и уступал. Из уважения. Но человеку рано или поздно все надоедает. Он уже не помнил, когда впервые возразил отцу.

— Я тебя слушаю.

Он был готов к отпору.

— Во-первых, когда идешь на работу, одевайся как все нормальные люди. Не давай повода судачить о себе. Довольно, сколько судачили.

— Что ты имеешь в виду?

— Прекрасно знаешь, что. Твоих дружков.

Отец почувствовал, что перехватил. И снова вернулся к одежде. Так было лучше.

— Я не могу в жару ходить в пиджаке.

— Можешь! Я же хожу! Или ты думаешь, что мне не жарко?!



УДК 82(07)
ББК 84.001.01

— Ты привык.

— И ты привыкнешь. Ради меня!

Отец как-то странно смягчился. Как видно, до главного еще не дошло. Парень был начеку, ждал. По опыту знал, расслабляться не время.

— Впрочем, этому еще можно помочь.

— А чему нельзя помочь?

— Мне не нравятся ваши отношения!

Он с облегчением вздохнул, ждал худшего — но отпустило только на мгновение. Как перед решительным прыжком.

— Мне не нравится твое поведение. Если ты не любишь ее, зачем женился, не время было обзаводиться семьей.

— Наши отношения никого не касаются. Даже тебя! — Он вдруг взорвался.

— С тобой невозможно разговаривать!

Парень предпочел встать из-за стола. Рванулся к окну, чуть не выломал лбом стекло. Закурил. Он знал — отец опаздывает. Машина уже ждала внизу. Мать проводила его. Он отчетливо услышал шум захлопнувшейся двери.

— Ушел?

Как будто не знал, что ушел.

— Ушел.

Мать ни во что не вмешивалась. И сегодня не вмешалась. Это его тоже раздражало. Ничего не ответив, он вышел из комнаты. Дым струйкой тянулся за ним. Сигаретный дым. В коридоре он обогнал парня, просочился в замочную скважину и первым увидел ее. Полулежа в кровати, она курила сигарету.

— Вторая за утро. Хотя бы выпила глоток воды.

— Откуда ты знаешь, что вторая?

— Знаю.

— Это все же лучше той гадости.

— Тебя не хватало!

Он переделал брюки. Взял со стола рубаху. Сигареты в нагрудном кармане сломались, от просыпавшегося табака на ней появилось желтое пятно. Он старательно вычистил карман, застегнул пуговицы. Достал из шкафа пиджак.

Громкая музыка заставила его вздрогнуть. Это было неожиданно. Он посмотрел на нее. Сигарета почти догорела, и пепел едва не касался одеяла. Он уже собрался сделать ей замечание, но она опередила его и сбросила пепел в пустую коробку.



Он перебросил пиджак через руку. Пробовал. Привыкал. Ее голос шел как бы издалека.

- Что говорил отец?
- Уменьши звук, я не слышу.

Он надел пиджак, повел плечами, как если бы примерял его. Странно разводил руками. Беспомощно.

- Что сказал отец?
- «Как видно, мы говорили слишком громко», — подумал он.

- Одень, говорит, пиджак.
- Ну и что?
- Ну и то, не видишь, одел.

Он решился. Резким движением скинул с себя пиджак. Перевесил через руку. Украдкой бросил взгляд в зеркало. Спросил ее отражение:

- Ты будешь дома?
- Спросил просто так, чтобы что-нибудь спросить.
- Не знаю.
- Я пошел.

Она закурила новую сигарету. Комнатой завладела музыка. Она завораживала...

Почему ему вспомнился именно этот день? Ничем не примечательный? Он задумался. Впрочем, какое это имело значение. Лень было докапываться до причины. Все дни одинаковы. Ничем не примечательны. Похожи как близнецы. И родитель у них один — город.

Число никого не интересовало. Тем более месяц, не говоря уже о дне. Ничего не менялось. Разве что в комнате — интерьер. И то на это решались самые смелые. Вот и все. Большого город ни за что не допустил бы. Если кто-то пытался что-то сделать, город зорко следил за ним. Раньше времени не вмешивался, — был профессионалом в своем деле — он знал, никто не сможет найти выхода, знал, у всех одна дорога. И ему порядком все надоедало. Он присоединялся к другим, обманывал себя.

И парень начинал так. И он как будто нашел лазейку. Поверил в нее. Так ему это казалось тогда. Потом понял, что стал как все. Понял и примкнул к ним. Угомонился.

Эпизод третий.
Дорога. Парень в машине.
Страшная жара.



Он смотрел только вперед. Глаз никак не мог привыкнуть к незнакомой местности, не мог освоиться с ней. Впрочем, он уже бывал здесь. Дороге, казалось, нет конца. Жара вытянула ее, удлиннила. Он терпеть не мог проезжать села, их села. Спешил. Пыль столбом стояла над дорогой. Его раздражали злые, завистливые взгляды мужчин. Их золотые зубы. Некрасивые неопрятные женщины с наполовину закрытыми лицами. Босоногие грязные дети, языком слизывающие собственные сопли.

Пыль скрипела на зубах. Он жевал ее. Считаю это за лучшее. На полной скорости проносился по деревням.

У поворота остановил машину. Дальше пошел пешком. Деревня была неподалеку. Это он называл поселение деревней. Местные жители считали его городом, поскольку здесь было не так пыльно. Потому и называли — «город». В детстве все стремятся вырасти побыстрее, хотят быть большими. Потом жалеют, мечтают вернуться назад. Так и это поселение, спешило вырасти, хотело походить на город. Больше ничего.

— Дома? — подойдя к калитке, спросил по-русски.

— Скоро придет.

— Подожду на улице.

Он присел перед домом. Закурил.

Издали увидел процессию. Она не спеша завернула на улицу. Странные похороны. Визжала музыка. Близкие покойного шли впереди гроба. Мужчины — в пыльных туфлях на высоких каблуках. Женщины — в чулках гармошкой. Яркие краски резали глаз.

Процессия поравнялась с парнем. Все смотрели на него. Он был чужак, и на него смотрели как на чужого. Он сунул руку в карман. Нащупал нож. Рука почувствовала холод железа, а через руку холод проник и в кровь. Она остыла. Нервы отпустило, он перевел дух. И сам теперь смотрел на них, чуждых ему. Его уже не пугали небритые лица.

Процессия продолжила путь. Покойника надо было предать земле. И здесь тоже. Пестрая змея вильнула хвостом и исчезла.

— Давно тебя не было.

Из пыльного облака вынырнул мужчина.

— Да.

— Как ребята?

— Нормально.

Тема для разговора была исчерпана.

— Сколько надо?

— Двадцать.

— Деньги с собой?

— В машине.

— А машина где?

— За поворотом.

— Ты иди, я скоро подойду. Не хочу, чтобы нас видели вместе, знаешь ведь, какое время...

— Рыщут?

— Еще как!

— Ладно, жду.

Он опустил оба окна. Машина была раскалена до предела. Жара усилилась. Стоял полдень.

Подъехало такси. Из него вышел мужчина. Быстрым шагом подошел к машине, протянул парню бумажный сверток.

— Как уговорились. Давай деньги.

— Садись!

Он осторожно раскрыл сверток.

— Что ты за человек. Меня такси ждет, я спешу.

Парень не слушал его. Пересчитывал.

— Здесь девятнадцать! — Повернулся он к мужчине.

— Один мне, пешкеш¹.

— Слишком жирно будет.

Он выхватил из потной ладони последний пакстик. В глаза бросились исколотые гноящиеся вены, грязные ногти, на мизинце — длинный, любовно отращенный.

— Я тебе еще понадобится.

— Не понадобится!

Он рванул машину. Мужчина смешался с пылью.


Кончено. Он в последний раз возвращается этой дорогой.

Баста.

Город любил судачить. Зло, несправедливо судачить. Недостойному улыбался, прижимал к груди. Достойного бросал, поворачивался к нему спиной, перемывал ему косточки. Город был чуток к переменам. Даже к малейшим. У кого нет собственной жизни, с удовольствием копается в чужой.

Он изменился, — говорили о парне — В чужую сторону уже не ездит, от друзей отошел. Разлюбил улицу и денег

¹ Пешкеш, пашкаш (перс.) — подарок.



взаймы не берет. Видно, тяжело болен. Он изменился, — говорили о нем. — За женщинами не волочится, да и с женой давно не живет. Импотент, наверное. Ну, скрывает это, конечно, ничего не поделаешь. Но от нас разве что-нибудь скроешь.

Он изменился, — говорили о нем. — Отец завел любовницу. Наверняка, скоро снимут, — шептались вокруг. — Мать жалко. Бедняжка, в молодости была красавицей.

Город любил судачить. Зло, несправедливо судачить.

Парень не обращал на это внимание. Чужая болтовня никогда не интересовала его. И сейчас она мало интересовала его. Он хорошо знал город. Нельзя идти у него на поводу. Он знал это. А город бурлил. Искал причину, выдумывал Бог знает что. Усложнял простейшее.

Он понимал причину всего этого. Никто не догадывался, кроме него, сам же он никому не растолковывал. Это потребовало бы больших усилий, а ему было лень. Впрочем, и растолковывать-то некому. Причина с самого начала была очень существенной, очень веской. Он постепенно упростил ее, сделал малозначимой, почти ничтожной. Определил одним словом под конец. Осточертело! Потому он и отошел от всех. Замкнулся в себе. Не подходил к телефону. Не открывал двери. Ни с кем не общался. Ложь и суета опостытели ему. Страх, с которым он выходил на улицу, номера машин, которые он почему-то запоминал. Надоели одни и те же лица. Холодные, ничего не выражающие глаза. Пустые знакомства, ничего не значащие взаимоотношения. Надоело брать в долг. По-крупному.

Город не понимал его. Не мог взять в толк это. Немного словие резало ему слух, раздражало. Он привык к долгой беспредметной беседе. Привык сызмала.

Время брало свое. Ему принадлежащее. Краденое у всех на виду. Парень менялся. Почти ничего не оставалось от него, прежнего. Еще немного и тот, прежний, исчез бы, пропал, растворился. Какой-то осколок прежнего. А осколок видит все по-другому. Порой даже и не видит, и не воспринимает. Ничто уже не раздражало его, ничто не удивляло. Все вокруг ему, безликому, казалось серым и безликим. Он стал инертным. Словом, совсем другим человеком. Надо было спасать себя. Только он мог спасти себя, никто больше. У него было много примеров. Плохих. Аналогий хватало с избытком. Он и без того во многом походил на других, сам того не желая. Он ненавидел рабство. Ненавистно быть рабом вещи, предмета,

человека. И уж тем более лекарства. Осточертело! Надоело рабство. Поэтому он решил освободить себя. Он притих. Припал к земле. Не шевелился, почти не дышал. Все бросил, ко всему еще и работу.

Родители хотят видеть в детях себя. Мечтают, не успокаиваются. Хотят, чтобы дети были такими, какими они задумали. Порой требуют невозможного. Несбыточного. Забывают свою молодость, довольно быстро забывают. Живут с одной мыслью — сделать своих детей своим подобием. Любым путем.

Наверное, и отец был когда-то другим. И он не носил в жару пиджак. Потом привык. Или заставили привыкнуть. И он должен был жить, как отец. Пройти тот же путь, который привел бы его к большому кабинету. Рано или поздно привел бы. С секретаршей в приемной. С машиной, которая ждала бы его по утрам у подъезда. С женой, вечно певнущей к секретарше, но вечно помалкивающей, потому что ей надо было есть, одеваться, ездить в машине. А иногда и отдохнуть в свое удовольствие. Немало врагов ждало его на этом пути. Гораздо меньше друзей, — тех же врагов в будущем. Заработал бы один обширный инфаркт и два микроинфаркта. Но это уже в старости.

А до того требовалось терпение. Бесконечные долгие собрания. Лишенные смысла. Беготня с бумагами. Работа по субботам и воскресеньям. Без отпуска. Не поесть, когда голоден. Не попить, когда мучает жажда. Придерживать язык, когда хотелось что-то сказать. Ибо говорить без разрешения, даже очень тихо, было нежелательно.


Он не походил на своего отца. Почти не походил. Он любил гулять под дождем. Окутанный сигаретным дымом. Потому он и бросил ко всему еще и работу.

А город помешался от сплетен.

Он не терял времени. Медленно возвращался к себе. Мучительно. Заново учился различать краски, отделять один день от другого. Почувствовал силу. Поверил, что можно родиться заново. Страшное казалось пройденным, конченным. Что впереди, он еще не знал. Успокоился. Расслабился.

Человеку это свойственно. Когда ему хорошо, он забывает об осторожности. Становится беззащитным. А в последнее время ему было хорошо. Даже очень хорошо.

Много будешь смеяться — горько будешь плакать, знай.



Мир восстал против него. Все вдруг забыли про засуху в Эфиопии, про безработицу в Европе, никто уже не думал о наркоманах Америки и бедах Ливана. Забыли голодных рахитичных африканских детей со вздутыми животами.

Все вдруг забыли. Мир мгновенно переключил внимание именно на него. Грохнул рукой по столу, пригрозил кулаком. созвал собрание. Сделал так, что на него стали указывать пальцем. Из-за странного слепого случая. Проклял его.

Мир сошел с ума.

И город сошел с ума. У всех на устах было одно — он.

Жаркой ночью летом нынешнего года (ночь действительно была жаркая — прим. ред.) один горожанин (парень) ранил самодельным ножом двух мирных прохожих (одного — в ногу, другого — в ягодицу — прим. эксп.), которые, страдая бессонницей, вышли в сад подышать свежим воздухом. (Ниже приводится план сада и прилегающих к нему улиц — прим. архитект.). Пострадавшим оказана помощь в ближайшей больнице.

Информация была краткой. Лаконичной. Ее перепечатали все журналы и газеты, независимо от профиля.

Никто не хотел отстать, никто. Огромная газета накрыла город, как палатка. И город читал ее. Жадно, алчно, невзирая на время суток. Город получил пищу для разговоров. И он рвал ее, раздирал, драл на части. Измазанными кровью губами потрошил парня. Город жил этим, ничего другого ему не было нужно. Испокоя веку.

Информация была краткой, лаконичной. А история долгой и бесконечной. И годы спустя она все длилась и длилась для него.

— А потом?

— Что потом?

— Что было после? Рассказывай.

— Я же рассказал.

— Еще раз повтори. Спокойно.

Уродливые окурки грелись под светом лампы. Парень сидел на стуле против отца, подняв забинтованную руку. В большом зеркале отражалась окровавленная повязка. Комната медленно пропитывалась запахом засохшей крови. Она наполнялась им, тяжелела. Сигаретный дым кольцами вился вокруг лампочки. Кольца становились все уже, сжимали,

сдавливали горло лампочке, мешали ей дышать. Она мигала, как бы просила помощи у мужчин.

Отец курил. Полулежал на тахте. Не метался по комнате, не ходил взад и вперед, как это следовало бы ожидать. Тяжело дыша, нервно. Обычно бывает так. В романах, кино, в пьесах. Даже в телевизионных постановках. Видимо, отец мало читал. Редко смотрел фильмы, а перед телевизором дремал с газетой в руках. Это было очевидно, ибо он нарушал правило, ритуал. Полулежал на тахте и курил. Слушал. Думал. Шнырял глазами.

Парень усмехнулся.

— Тебе смешно?

— Это я так.

— Нет, ты сведешь меня с ума! Продолжай.

Он повернулся на другой бок.

— Я спрятался у одной, как мне показалось, знакомой женщины.

— Какой?

— У бывшей нашей соседки по старому дому. Барыги.

— У кого?

— У барыги. Она торговала сигаретами. Ты вряд ли ее помнишь.


— Потом?

— Она меня выдала.

Кровь уже почти не шла. Но он продолжал держать руку поднятой.

— Тебя били?

Что он мог сказать. Вспомнилась серая комната с грубо оштукатуренными стенами. Яркий, бьющий в глаза свет. Стул посередине. Его силой усадили на него и привязали к спинке. Плевать хотели на раненую руку. Из слепящего света вышел человек, держащий в руке туго свернутую газету. Он подошел к нему вплотную. Рука с газетой опустилась на голову парня. Человек бил по одному и тому же месту. Не очень сильно, но точно в одну точку. В этом заключался фокус. Через несколько минут голова парня превратилась в огромный барабан. Мозги готовы были вылезти из ушей. Всем существом он чувствовал, что сходит с ума. Человек тем временем сменил точку, а вместе с ней и ритм ударов. Все началось сначала. Глаза вылезли из орбит и катались по полу. Тело не выдерживало собственной тяжести. Никто не мог вынести этих мук. Подписывали все, что угодно, наговаривали на себя, возводили напраслину.



Что ему было делать? Рассказать все отцу? Да он бы не поверил, он и спросил это просто так, между прочим. Мельком слышал что-то, где-то во время застолья, когда какая-то женщина рассказывала: «Знаете, что случилось?!» И все равно не верил, считал, что это сплетня. А сейчас просто перепроверил себя, больше ничего. И парень смолчал из страха перед худшим.

— Тебя били?

— Нет.

— Домой привезли самца?

— Да. Как только узнали фамилию. О тебе говорили. Ты, наверное, должен будешь зайти к начальнику. Он позвонит тебе.

— Заиду.

— Где мама?

— Слава богу, вспомнил. На свадьбе, помогает. Ночевать будет там.

Парень встал. Вынул из коробки сигарету. Отец дал ему прикурить. Парень открыл дверь на балкон. Ему было душно в комнате.

— Сядь, я еще не кончил!

Он сел. На то же место. Рука вновь повисла в воздухе. Как-то странно повисла.

— Значит, ты не виноват?

— Нет. Они первые начали. Я сидел, никого не трогал.

— Один?

Отец не верил ему.

— Один! Сколько раз можно говорить!

— И вот так ни за что, ни про что они взъелись на тебя и решили избить?! И даже нож выхватили первые. И у тебя просто другого выхода не было, правда?

— Конечно, тот с ножом убить меня хотел. В живот метил, я и прикрылся рукой. Видишь, что с ней!

Он посмотрел на руку и только сейчас заметил, что кровь остановилась. Опустил руку.

— Почему у тебя оказался нож в кармане?!

Отец кричал. Видимо, вспомнил что-то, ранее прочитанное или увиденное. Даже с места вскочил.

— Не кричи! Я не боюсь!

Отец сел. Как подкошенный. Терзал в руках пепельницу.

— Ты их не знаешь и не имел с ними дела. Они ни за что человека могут прикончить. Волки. Все.



— А ты что, их знаешь?

— Ты не понял меня. Я говорю о поколении в целом. Оно безлико. Без отличительных черт.

— Зато ты у нас великодушен. У тебя много хороших черт, в том числе и сострадание.

— Я и на худшее способен, но не стал жертвовать собой, не стал. Из-за них не стоило. Легко поранил, пощадил все же.

Отец слушал его. Несколько окурков из пепельницы упало на пол. Пепел рассыпался на колени. Испачкал брюки.

— Я понял так, что ты не виноват?!

— Нет! Я защищался.

Оба взглянули на часы. Было поздно.

— Может, и ты в моем возрасте поступил бы так же.

— Не агитируй. В твоем возрасте мне было не до этого.

— Чем это таким ты был занят?

— Делом!

— Каким все же?

— Когда-нибудь расскажу. В другой раз. Это длинная история.

Они помолчали.

— Что будем делать? — спросил парень.

— Оденусь и пойдем.

— Куда?

— К врачу. Надо показать руку. А потом посмотрим.

Отец поднял с пола окурки, положил их в пепельницу и с грохотом поставил ее на стол.

— Пошли!

Он выругался. Яростно, злобно. С отчаянием. Здание сотряслось. По стенам пошли трещины. С потолка посыпалась штукатурка. Забила рот изумленному дежурному. Милционеры отпрыгнули в сторону. Съежились в углу, перепуганные. Все пришло в движение, тронулось с места. Стулья в страхе прижались друг к другу. Трещина, увеличиваясь, разделила комнату надвое. Отец перепрыгнул через расщелину. Он спешил. Боялся, как бы здание не обрушилось на него. Даже не обернулся, не взглянул на сына. Драпал. Стена обвалилась, не выдержала громового голоса. Дом вот-вот рухнет. Спина отца заполнила дверной проем. Левое плечо его подрагивало.

Дыра в полу увеличилась, стены не выдержали, и дом рухнул. Развалился. Провалился в огромную яму. Обрушился. Исчез. В глубь.

Все это было позже. Под конец.

А до того врач зашивал руку. Старательно. Мясо чавкнуло. Отец стоял рядом, но на руку не смотрел. Не мог видеть крови.

— Что ты делал в полночь в саду?

— Отдыхал.

— От чего отдыхал? Год из дому не выходил, а тут вдруг в сад понесло.

Парень не отвечал. У него болела рука. Он терпел. Привык терпеть боль. Капля скатилась по носу и повисла на кончике. Он морщил лицо, пытался достать ее языком, но тщетно. Ему было щекотно. Врач сам пришел ему на помощь, утер нос бинтом. И лоб вытер. Подбодрил его:

— Потерпи еще немножко!

— С ума от тебя можно сойти, ты действительно был один? — не унимался отец.

— Да!

Это короткое слово чуть не застряло у него в горле, чуть не задушило его. Так он произнес его.

В последний раз чавкнуло мясо. Шов получился грубым, некрасивым.

Отец остановил машину перед зданием милиции. И только тогда он очнулся.

— Что я здесь потерял? Мы так не договаривались.

— А зачем откладывать? Сегодня же поговорю с начальником. Так будет лучше, не правда ли?

— Не знаю. Уже поздно, никого, наверное, нет. Лучше прийти завтра.

— А мы проверим.

Отец вышел из машины. И ему сделал знак: выходи.

— А я зачем? Я тут подожду.

— Нет, выходи!

Он подчинился.

А потом случилось нечто необыкновенное. Трудно поверить, что такое вообще могло случиться. Отец сдал его милиции. Обманным путем. А потом повернулся и ушел. Не произнес ни слова. Чего же ждать от другого? Постороннего?

И парень выругал его. Яростно и злобно. Впервые в своей жизни выругал отца. Здание не выдержало, рухнули стены. Вдруг. Крыша чуть не раздавила его. Яма втянула, увлекла в свою глубь всех, кто находился там. И парня в том числе.

Еще было время, он еще не распластался внизу. Еще успел бы рассказать все, без утайки. Как позвонил ей. Она только вышла замуж. Он давно ее не видел. Как они сидели в саду, разговаривали, ничего больше. Было жарко. Как они стали препираться с ним. Грубо, зло. Вознамерились избить его. И к ней стали приставать. Порвали платье. Вид голого тела еще более возбудил, разъярил их. Ничто уже не могло сдержать их. Ничто, кроме боли. Боли и крови. Как он не выдержал, взорвался, защитил ее. Но больше себя, заново рожденного. Он мог бы успеть рассказать все это. Он был ведь на полпути, еще не достиг дна.

Она не сделала ему ничего плохого. Он не мог предать ее, вот так, ни за что. Не хотел, чтобы и у нее все разладилось, расклеилось, с таким трудом склеенное. Может быть, она была счастлива с мужем. Кто знает.

Времени на размышление не было. И все же он размышлял. Хорошо еще отец не читал «Маттео Фальконе» Мериме. Впрочем, Маттео, наверное, поступил благороднее.

Он животом шлепнулся на грязное сырое дно.

В яме ужасно воняло.

В ту же ночь его повезли в наркологический диспансер на проверку.

Эпизод четвертый.

Парень. Милиционер. Врач.

Фельдшерница. Лаборантка.

Наркологический диспансер.

Ночь.

Врач сидел за столом. Фельдшерница заполняла какой-то бланк.

— Садись!

Ему приказали. Он подчинился. Сел.

Милиционер, упершись в стол локтем, приклеился губами к уху врача. Забрызгал его слюной. Врач встал, подошел поближе. Взял его голову в свои руки, заглянул в глаза.

— Покажи руки!

Долго изучал его запястья. И сгибы рук. Подвел его к яркой лампе. Пытался что-то найти, очень хотелось обнаружить след хотя бы одного укола. Лицо врача покрылось потом, он не отпускал его рук, выскивал. Лицо недовольно морщилось. Очки скатились на кончик вспотевшего носа. Глаз не видно. Наверное, их и не было.

Врач покачал головой.

— Покрутись!

Он стал крутиться. Сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Стены соединились в одну, вещи слились друг с другом, милиционер приник к фельдшерице, врач — к парню. Все смешалось в комнате, в больнице.

— Довольно!

Вещи отделились друг от друга, вернулись на свои места. И врач в том числе, и фельдшерица, и милиционер. И посреди стены вновь возникло окно. Он пытался сохранить равновесие, как будто это могло спасти его. Оставалась надежда, ничтожная. Впрочем, он уже чувствовал, что обречен.

Сохранить равновесие не удалось. Его шатало, заносило вправо. Врач снова схватил его за голову. Снова заглянул в глаза. В стеклах очков отражалось лицо парня. Испуганное. Фельдшерица продолжала писать, не останавливаясь.

— Фамилия?!

— Я уже оформила.

Фельдшерица прошелестела бланком.

— Ладно. Надо провести его в лабораторию. Для анализов.

— Для чего анализы? — нетерпеливо спросил милиционер.

— Это займет немного времени.

— Тогда пошли, — согласился милиционер.

— В дороге не сбегит? Мы во двор выйдем.

— Куда ему бежать? Отец сам доставил в милицию.

Это было сказано так, будто и милиционера удивил поступок отца.

Парень ни на что не реагировал. Ему было уже все равно.

— Через десять минут вернусь, если кто спросит. — Фельдшерица кивнула головой.

В небольшом здании — покой. Узкий коридор. На столе — пустые банки. За столом — две девушки, лаборантки. Заспанные глаза, аморфные лица. Парень стоит перед открытой дверью туалета. Пустая банка переходит из рук в руки.

— Давай, скорей!

Милиционер подтолкнул его.

Дверь не закрывалась. Специально. Здесь никому не доверяют. Смотрят в руки. Следят за каждым движением. Всегда начеку.

— Для чего анализ? А если он не сделает?

— Введем катетер... для анализа нужна капелька. Или возьмем кровь.

— Одно из двух. Я не собираюсь ночевать из-за него. — Врач пожал плечами.

Банка согрела ладонь. В нос ударил специфический запах. Лаборантка, морщась от отвращения, приняла банку и поставила на стол. Потом подложила под нее жетон желтоватого цвета. На нем номер — 73. Ничего не осталось от парня. Только жетон и моча. Полбанки.

Он был трезв. Все это знали. Все пятеро. И тем не менее им пожертвуют, составят акт о том, что он наркоман. Не пощадят. Впрочем, они его уже не считали человеком. Он был 73-м.

У каждого из них было имя. И фамилия была. Кто-то ценил их, кто-то любил. Кто-то спал с ними, зачинал детей. И обращались к ним по имени-отчеству: к милиционеру — он знал, как себя вести, выполнял задание; к врачу — тот подписал бы любое заключение, только бы заплатили; к фельдшернице — эта готова была закрыть на все глаза, лишь бы получить свою долю; к девушкам — сколько лаборантов ходят без работы!

Врач не дождался результата анализа. Милиционер тоже. Его не пощадил.

Так было нужно. Того желал город.

Город готовился к премьере, ему надо было выспаться.

Все было показательным. Парень. Образцовая семья. Вся история, поступок отца. И, наконец, процесс — тоже показательный.

Город любил показательные выступления.

Специально для него были сшиты костюмы и платья. Оделись, прибрались. Навесили дорогие украшения. Явились в полном параде. И зал украсили. Обновили стулья, поставили декорации. Позаботились об освещении, сделали более ярким. Не требовалось только занавеса. Его и не было. Зритель сидел почти на сцене. В непосредственной близости от нее. Порой подключался, принимал участие в судебном процессе. И роли были распределены. У одних — сложные. У других — менее сложные. У каждого — своя реплика, жест, возглас.

А у парня — все наоборот. Ему не дали побриться. Надели на него мятую грязную рубаху. Взлохматили волосы. почернили шею. Не дали вымыть руки, под ногтями осталась грязь. Брюки заштопанные, сальные. Глаза бессонные, кро-

вянистые. И роль ему дали, только бессловесную. Ни одного слова. Такую роль, говорят, играть гораздо труднее.

Шли семьями. Заранее занимали места, заполняли зал. Женщины улыбались друг другу, позвякивали украшениями. Чебрежно носили дорогую одежду. Якобы небрежно. Мужчины целовались друг с другом. О чем-то переговаривались с деловым видом, вечно озабоченные. Сбрасывали пепел с нолен вчетверо сложенными платками. Украдкой поглядывали на чужих жен. Вот так.

Все равно — жив ты или мертв. Свадьба или похороны, спектакль или выставка, процесс или базар. Все равно. Все воспринимали одинаково. везде вели себя одинаково. И темь была одна, неисчерпаемая. У женщин — мужчины и тряпки. У мужчин — женщины и похмелье. Так убивали время. И самих себя и своих детей. Старели и продолжали грезить о молодости. Чтобы заново пройти тот же путь. Без всяких изменений.

В зале стоит запах, запах духов. Он становится все сильнее, сильнее, достигает какого-то предела и делается нестерпимым. Даже самый приятный запах за гранью — невыносим.

Третий звонок. Начинается.

Поначалу было трудно. Нервничали. Никак не могли войти в роли. Спешили. Нервозность передалась и залу. Зал зашумел. Не смог подключиться, оказался в стороне. Потому и бурлил, шелестел бумажками. От шоколада. Представление было на грани срыва. Показательное представление. Но актеры, наконец, взяли себя в руки. Задышали спокойно. И зал утихомирился, превратился в слух.

Припомнили, все припомнили ему. И то, что он совершил, и то, что мог совершить, и то, что мог помыслить. Старое, сегодняшнее, будущее. Свидетели не уместались в зале. Дышалось с трудом. В открытых дверях терялся хвост очереди: воспитательницы детских садов, учителя, лектора, соседи, друзья, шоферы такси, портные, красильщики, проститутки и еще какой-то мужчина. Парень случайно наступил в автобусе ему на ногу. Оказывается, сделал ему больно. Все, с кем ему когда-то приходилось иметь дело, вспомнили все. И пришли на суд. Вместе прокляли его, вместе плюнули ему в лицо.

Актеры разыгрались. Зал придавал им смелости. Все реже смотрели в свои бумажки, все реже следовали тексту. Вставляли свои слова, выдумывали. Все больше и больше Спек-

такль был коротким. Одноактным, с несколькими картинами. Он уже заканчивался. Актеры в последний раз заглянули в текст, в последний раз проверили себя. Финал особенно удался им. Бумажки полетели в зал. Скрывать как будто было нечего. И вот финал!

Мелом очертили круг. Неровный. В круг поставили парня. С одной стороны стал судья, с другой — мать. И стали тянуть каждый в свою сторону. Чуть не вывихнули ему плечи. Мать нервничала, волновалась. У нее была потная ладонь, рука выскальзывала из нее. Судья дважды одерживал верх, дважды выскальзывал сын из рук матери, когда победа казалась столь близкой. Она стиснула руку в третий раз. Остановила кровь. Потянули. Едва не разорвали пополам. Мать сжалилась над ним, отпустила руку. Крикнула: я не могу разорвать сына пополам! Судья воспользовался, рванул парня к себе. И парень исчез.

«Выслать в тартарары без права переписки» — приговор обжалованию не подлежит.

Зрители поднялись со своих мест. Хлопали, топали, вопили. Требовали режиссера, отца. Он скромно кивал головой, разводил в стороны руками. Плечо уже не дергалось. То самое, левое.

Зал постепенно пустел. Шум разговоров стихал. Выносили декорации, заносили новые. Меняли освещение, на тусклое. С пола собрали бумажки и обертки шоколада. Скоро должно было начаться новое представление. Новый процесс. Обычный, рядовой, непоказательный.

А там — серый снег. Высокие могучие деревья. И все одеты одинаково.

Его никто не навещал. Все забыли о нем, бросили. Будто его и не было никогда. У города появились другие заботы. Повседневные, новые. Многого надо было достать, еще больше устроить. Масса мелких дел. И о себе не мешало позаботиться. Сколько можно думать о других, в конце концов!

Только мать приезжала. Правда, не часто. Когда ее отпускали. Они молча смотрели друг на друга, как бы тянули время. Им обоим казалось, оно вяло влачится. А времени было очень мало, всего несколько минут. И мать уходила. Возвращалась домой. Делила постель с человеком, который не пощадил его. Парень никогда не понимал женщин. Даже мать. Просто любил ее, и потому закрывал глаза на многое. И он

возвращался назад, сгорбившись, заложив руки за спину, исчезал в дверях. Борясь с опаляющим сердце запахом, он с надеждой шел на каждую встречу. С надеждой на встречу с ним. Он почему-то верил, что отец обязательно придет. Это была навязчивая мысль, назойливая, надоедливая. Но в небольшой комнатке его встречала мать. И он выдерживал, как муку, эти несколько минут. Подставлял плечи под наваливавшуюся тяжесть, стоически выдерживал ее. Уходил багровый, со вздутыми жилами, пробираясь ощупью вдоль сырой стены. Парня интересовал отец, он ждал его. Ждал, как ждут врага. Смертельного врага. Потому и терпел встречи с матерью. Терпел эту муку. Густой воздух комнатки. В месяц раз.

Как он себя помнит, все время кого-то ждет. Поднаторел в ожидании, стал профессионалом. Люди, неопытные в этом деле, порой даже спрашивали у него совета. В особенности запомнилось ему, как он ждал отца. Это ожидание было в нем, в крови, одежде. В детстве ждал как-то особенно. Красиво. Как ждут отцов дети. Мальчишки. При звуке голоса в подъезде вздрагивал. Прислушивался к скрипу двери. С криком неся по коридорчику ему навстречу. Не выносил, когда тот опаздывал. По-своему переживал. Воровал спички на кухне и грыз их. Став школьником, ждал отца уже со страхом. Пока был слаб, избегал взбучек. И опять нервничал. Курил потихоньку. Дымил в ванной, коптил стены. И позднее ждал, но иначе, с нетерпением. Как ждут соперника.

Время грабило ожидание. День ото дня, безжалостно. Общего становилось все меньше, интерес к отцу угасал. Не осталось даже темы для разговора. Они встречались только во время еды. В день несколько раз. Отец не терял времени, наставлял его, учил правильно жить. Предельно правильно, до раздражения. Отец хотел, чтобы сын походил на него, сын сопротивлялся изо всех сил. Несколько раз они пытались договориться, заключали перемирие, оба шли на уступки. И были близки к цели, вспоминали прошлое, родное для обоих. Но до конца не доходили, под конец что-то всегда мешало. Никак не могли отступить от ритуала. То, что дало столько трещин, уже не склеить.

Отец был крепостью. Древней, каменной, неприступной. Выстроенной на века, на совесть. Как скала. Парень ходил вокруг нее ночами и, облюбовав какую-нибудь стену, начинал рушить ее. Маялся в поте лица, медленно, еле дыша, выни-

мал камни. По одному. Готовил лаз на утро. Засыпал измученный. И во сне его преследовала разрушенная стена с узким лазом, разбросанные вокруг тяжелые камни. Наутро он не находил лаза. Стена встречала его гладкой, чистой. Крепость опять была неприступной, несокрушимой. Отец мыл руки, испачканные цементом. Тяжким был этот труд, изнурительным. Наконец обоим надоело. Они положили ему конец. Делали все назло друг другу. Ссорились, кричали, спорили. Крепость не выдержала вражеского штурма. Фундамент дрогнул, качнулся, заходил ходуном и развалился. Каменные глыбы увлекли парня вниз. Смешали его с пылью и кровью. Погребли под собой. Глубоко.

Он много раз слышал, что такое случается. Но знал об этом только по рассказам других. Те далекие дни виделись ему в цвете. Лица, жесты, одежда. Даже запах пота чувствовал. Волнение, порождающее его, страх. Ему казалось, что все это в прошлом, кануло в Лету. Спокойно спали ночами. Когда жена спроваживала мужа и слюнила губы любовнику в форме. Родственники не щадили друг друга. Глядя на них, распоясывались посторонние. Наглели. Прошое продолжалось и сегодня. Передавалось от человека к человеку, из поколения в поколение. Как неизлечимая болезнь, проникшая в кровь. О ней вспоминали с содроганием, вздрагивали при стуке в дверь. Глаза расширялись, руки начинали дрожать. Потом замирали на месте, съеживались, ступешивались. Ломались. Отец мог стать героем, подумал он. Слава с орденами обошла его. Он перепутал время, родился не в те годы. Не повезло! Так проявилась его ностальгия по тем годам. Понять, прочувствовать, прстить это было невозможно. Родителей не выбирают. Увы!

Парень ждал. Еще и потому ждал отца. Ему хотелось скандала, крика, хотелось размахивать кулаками, ругаться, переворачивать столы. Рвать на себе одежду с пеной у рта. Стиснув зубы, ждал. Как ждут смертельного врага. В конце концов отец приедет. Парень только об этом и думал, даже сам не знал, почему. Долги надо платить. Всякие. Хочешь — не хочешь.

И этот день настал. День, о котором он столько мечтал, который столько раз пережил. Прочувствовал каждым нервом, каждым мускулом. День, который он столько времени с мукой носил в себе.

Он приехал. В узком коридорчике пролегла длинная тень. Лампа, заключенная в клетку, едва мерцала, навевая тягост-

ные мысли. Глаз никак не мог привыкнуть к тусклому свету. Стены отражали звук его шагов, эхо возвращалось к нему, оглушало. Бритая голова подрагивала. Заложенные за спину руки вдруг стали лишними, мешали идти. И все же он отыскивал дорогу, с трудом продираясь через лабиринт к заветной двери. Бледный свет, звук шагов, запах сырости, одиночества. Одно и то же, одно и то же. Изю дня в день, до бесконечности.

Железная дверь с трудом поддалась, медленно открылась. Отец сидел за приколоченным к полу столом, как дома. Будто завтракал. Посмотрел на него. Парню разрешили сесть. Он попросил сигарету. Всей кожей почувствовал что-то до боли привычное. Жадно выкурил сигарету. Отец дал ему закурить вторично. Они без слов смотрели друг на друга, ели друг друга глазами. Лицо отца застлало сигаретным дымом. Затуманило.

Приколоченный стол стал удлиняться. Занял все пространство от стены до стены. И в ширину раздался, отрастил брюхо, распух. Отец все больше и больше отдалялся от него, становился недосыгаемым. Даже рукой не достать. И комната все росла и росла, меняла форму. Два человека вышли из стены, держа в руках дверь, обитую кожей. Они быстро повесили ее. Стена разверзлась и поглотила их. К удлинившемуся столу приставили стол поменьше, поперек. Вокруг столов поставили стулья. И картину на стену повесили, старую. На окнах появились красивые шторы. На столах — сверкающие пепельницы. Телефоны разных цветов. Различного назначения. Кондиционер, телевизор, телекс. И еще — вода, минеральная. Это главное.

Большая комната произвела маленькую. Отца почти уже не было видно за длинным столом. Телефоны заслонили его лицо. Парень невольно пятился задом. И перед ним, оторопелым, захлопнули массивную дверь.

Приемная напоминала аквариум без воды. Все стулья давно заняты. Сидящие то и дело утирали потные лбы, постукивали ладонями по лысым головам. Вдыхали. Из-под брюк выглядывали волосатые ноги, носки, за которые заткнуты концы шнурков обуви. Очередь нервничала, курила.

Секретарша роется в бумагах, поправляет очки. Перед ней — темь.

— По какому делу?

— По личному.

— По личному сегодня приема нет. Приходите в конце недели, от двух до пяти.

— Я должен его непременно увидеть. Я подожду!

Слова отскакивают от папки, прилепленной к лицу секретарши. Он становится у двери. Очередь приходит в волнение, перешептывается.

— Молодой человек! Отойдите от двери! — сердито говорит папка.

Облака давили друг друга. Из окна было видно: собирается дождь. От лопнувшей вишни он почувствовал оскмину во рту. Так было всегда, с самого детства. Запах дождя почему-то ассоциировался со вкусом вишни. Десны пощипывало от терпко-кислого, во рту появлялась сухость. Он не любил вишню без сахара.

По наружному стеклу покатила капля. Первая. Приемная вдруг забурлила, заволновалась. Все бросились к двери. Открывали, закрывали, вбегали, выбегали. Замелькали папки. Разных форм, разных цветов, разной толщины. Кондиционер не выдержал, не смог справиться с дымным помещением, закашлялся. Приемная клокотала от безделья.

Парень вырвал оконную раму. Перенес ногу и шагнул. Соскользнул вниз вслед за дождевой каплей. Съехал, сполз.

Часы ожидания кончились.

Отец, оказывается, явился со всей своей свитой. Кабинетом, приемной, секретаршей и телефоном. На прием он не попал. Не повезло...

И снова та же комната, серая, с угрюмыми стенами, тусклым светом, низким потолком, приколоченным к полу столом. И таким же стулом. Черного цвета одежда; бритая голова, непреодолимый барьер тишины. Они расстались молча, без единого слова. Уже чужие.

Железная дверь ворча открылась, заманила парня, упрятала. Свидание окончилось.

По личному делу в конце недели, с двух до пяти. Порядок есть порядок.

Он сделал еще один круг, еще раз провояжировал вокруг отца. Безрезультатно. Ничего не уяснил себе. Причина осталась неразгаданной. А строить предположения ему было некогда. И он отложил разгадку в сторону, как бы забыл про нее, на какое-то время. Его ждало худшее. Он должен был считать дни. Молча. В одиночестве. Любым способом сохранить себя.

Обилие снега может свести с ума, лишит рассудка, как бы ты его ни любил. Если долго на него смотреть, конечно.

Время развеяло злость. Неотступные мысли утратили прежнюю остроту, он уже не выходил из себя, как следовало бы ожидать, как ему хотелось бы. Пережитое сломило его.

Он вернулся. Все было по-старому, все — на своих местах. Он и сам это видел. Он сознавал, что вернулся, хотя не мог прочувствовать это. Не мог прочувствовать, поскольку не узнавал себя. И город не узнавал его, будто и не знал его вовсе. Кто позабыл его, кто проклял, кто отступился. Он больше не интересовал город, он умер для него, из него выжали все, что могли, и бросили сломленного, напуганного. И он, как все, станет ждать стука в дверь. А услышав, вздрогнет и замрет на месте. И объятый страхом, не сможет уже заснуть спокойно. Ему не хотелось возвращаться, город это знал. И сам он чувствовал это. Потому и махнул рукой на все, что заставляло его считать дни, выносить холод, боль, оскорбления, голод. И на многое другое — о чем обычно не говорится и не пишется. Он забыл о мести, глубоко зарыл ее в землю. Назад, в снег, не возвращаются, а если возвращаются, то навсегда. Город укротил его, лишил естества, уподобил себе. Сделал таким, каким хотел — безымянным, безликим, как все.

Ради матери он занялся устройством могилы отца. Не испытывая никакого чувства. Это был чужой для него человек. Посторонний. Но почему-то он всем говорил, что это могила его отца. И мать тоже так говорила. А он и не помнил, был ли у него когда-нибудь отец. И если был, то что это был за человек. Ничего не хотелось вспоминать — ни прошлое, ни настоящее. Он вдруг все сразу забыл. Эта беспомытность могла хоть немного помочь ему. Так думал он. Главное для него было в другом. Он вернулся оттуда! Это возвращение вселяло какую-то надежду. Кто знает!

А город хихикал за спиной. Он давно уже умер для города!

Последний эпизод. Финал.

Съемочная площадка.

Парень. Режиссер. Вечер.

В кадре — двое ребят. Они смотрят на небо.

— Красивого цвета, правда?

— Что?

— Как что, небо.



Тот, что пониже, смотрит вверх:

— А оно не всегда голубое.

— Как это?

— А вот так. Это зависит от того, какими глазами на него смотришь.

Оба снова смотрят в небо.

В кадре — небо. Оно отливает коричневым цветом.

Режиссер что-то кричит. Камера замирает. Главный герой снимает с лица грим. Снят последний кадр. Режиссер благодарит съемочный коллектив. Все начинают суетиться. У каждого появляется свое дело. Выключают софиты. На съемочной площадке — неразбериха, шум. Главный герой подходит к режиссеру. Тот занят каким-то своим делом, размахивает бумажками.

— О чем наш фильм? — спрашивает главный герой.

Режиссер не слышит его. Вокруг — невыносимый шум. Режиссер кричит на кого-то, требует тишины.

— Я не понял, повтори.

— Какого цвета у тебя глаза?

Режиссер теряется. На мгновение задумывается.

— У меня? Карие. У нас у всех карие, а что?

— Ничего. Я пошел.

— Может быть, отметим?

— В другой раз.

— Не теряй меня из виду. На днях позвоню.

Парень кивает ему и уходит. Режиссер возвращается к своим бумажкам.

Камера следует за парнем. Подняв воротник и сунув руки в карманы, он пересекает съемочную площадку, приближается к опушке, вот-вот скроется в лесу. Останавливается. переводит дух, смотрит в сторону камеры и убегает.

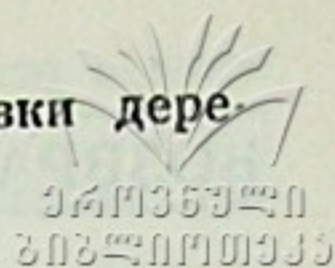
...Комната парня. Он закуривает.

Камера запуталась в ветвях деревьев, старается выбраться. И все-таки пытается поймать парня в кадр. Это ей с трудом, но удается.

...Снова комната парня. Тишина.

Парень удаляется от камеры. Бежит. Камера не поспевает за ним, спотыкается, падает. Все мешается, переворачи-

вается. Ветви, листья, парень, комната, небо, маковки **дере-**
зьев. Это повторяется несколько раз.



Парень очнулся от мыслей.

Пальцы у дождя огрубели. Он нахально царапал стек-
ла, стучался в них, лизался.

Парень сидел в кресле. Он и сам не понимал, как мог
просидеть столько времени без движения. Спина взмокла от
пота. Он повернулся, сел боком. В комнате ничего не изме-
нилось, все — на своем месте, как он оставил. Нетронуте.
Только на столе стояла странная клетка. Круглая, формы ко-
леса. Он не помнил ее. И белки, заключенной в клетку, тоже
не помнил. Белка бежала. Очень быстро. Бежала и в то же
время оставалась на месте. Временами делала передышку,
потом продолжала свой бег. В более быстром темпе. Пере-
дохнувшая.

У белки были глаза, как у парня. И грустный, как у не-
го, взгляд.

Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ



Леван ХАИНДРАВА

Ровно через год

В № 1 «Литературной Грузии» за 1989 год была опубликована моя статья «Некоторые мысли по поводу современной, «сталинианы».

Несмотря на крохотный тираж журнала — всего 6 тысяч, — несмотря на то, что он не попадает в подавляющее большинство крупных городов страны, не говоря уже о более мелких, статья вызвала опромную читательскую почту, Редакцией и автором получены сотни писем. Как видно из их содержания, во многие центры статья доходила в ксерокопиях, машинописных перепечатках и даже переписанная от руки.

Прошел ровно год, поток писем начинает иссякать, и теперь в пору подвести некоторые итоги.

Прежде всего необходимо отметить, что, как показывает содержание абсолютного большинства откликов, читатель нашей страны отнюдь не такой простачок, как мнится авторам бесчисленных сногшибательных и сенсационных «разоблачительных» и «переоценочных» материалов. Люди не склонны безропотно глотать все, что им, разжеванное и соответствующим образом поперченное и посоленное, кладется в рот. Читатель способен мыслить, и это, может быть, главный назидательный и утешительный урок, который следует извлечь из факта моей публикации, не попадающей в общую струю.

И пусть его сбивают с толку бесчисленные «перестройщики», провозгласившие себя таковыми, когда это стало не только «можно», но и «модно», пусть ему преподносят подтасованные факты, а иногда и прямую циничную ложь — он интуитивно чувствует: тут что-то не так, не сходятся концы с концами. А разум, наряду с совестью, возвышающий человека над всем остальным миром живых существ, служит ориентиром, помогающим найти, наконец, улицу, ведущую к Храму.

Но спустимся с горних высот на грешную землю.

Сперва голые факты. Письма, полученные в связи с моей статьей, можно условно разделить на три категории:

1. Полностью согласных с ее содержанием. (Таких ⁵¹⁴ ₃₀₈₋₃₁₉₀₉₃₅ сем подавляющее большинство).

2. Согласных в основном, но содержащих кое-какие возражения.

3. Не согласных полностью. Последних получено всего два. Оба из группы 2-й по моей классификации (см. статью).

Но тут обнаруживается любопытный феномен.

Со мною-то авторы писем-откликов согласны, а я вот с некоторыми из них не согласен. Это с теми, кто воспринял мою публикацию как защиту сталинизма.

Я писал и еще раз повторяю, что отнюдь не пытался брать под защиту те деяния Сталина, которые ни оправдать, ни простить невозможно. Любому, кто внимательно читал статью, это должно быть понятно. Я просто утверждал и сейчас утверждаю, что недопустимо — недобросовестно и бесчестно (уже не говоря о том, что антиисторично) — валить на одного человека всю вину за то, что делалось в нашей несчастной стране, начиная с 25 октября 1917 года.

А теперь, после публикации писем В. Г. Короленко — А. В. Луначарскому («Новый мир», № 10, 1988 г.), рисующих удручающую картину ужасов, происходивших в стране в 1918 — 1920 годах, после весьма логичного и убедительно аргументированного письма Вл. Солоухина «Почему я не подписался под тем письмом» («Наш современник» № 12, 1988 г.) и статьи автора этих строк в № 1 «Литературной Грузии» за 1989 год продолжать освещать проблему террора так, как делали это до недавнего времени «члены партии КВД» — просто невозможно. И надо отметить, что тон публикаций на данную тему явно изменился. Все чаще и чаще помимо Сталина упоминаются другие фамилии участников массовых репрессий против народов, населяющих территорию бывшей Российской империи, все чаще предметом изучения становится период, предшествовавший установлению единоличной диктатуры и, пусть еще робко, с опаской, оговорками и оглядками, но уже упоминается имя Ленина в контексте, который прежде, даже еще год назад, был немыслим. Историческая правда прокладывает себе путь.

Сейчас уже меньше кричат о «смелости» и «правдивости». Видимо, доходит, наконец, до сознания очевидная истина, что правда по приказу есть ложь, разрешенная смелость есть трусость.

Однозначного направления «разоблачительной» тенденции продолжает пока придерживаться с упорством, достойным лучшего применения, лишь «Огонек» и... достигает обратного эффекта, свидетельством чего служит хотя бы подборка писем читателей, опубликованная на его страницах в № 41 за прошлый год. Конечно, подборка эта составлена тенденциозно, как тенденциозно и все направление журнала. Опубликованы лишь письма, содержание которых неприемлемо, а иные вызывают просто отвращение, но проскочило и весьма разумное письмо Т. Герцик из Петропавловки Днепропетровской области, которое, смею утверждать на основании писем, полученных мною самим, как раз и выражает позицию людей, способных здраво рассуждать и давать разумные оценки прошлому и настоящему нашей страны, то есть высказывать суждения и по уму, и по совести.

И таких людей в стране — явное большинство, только они лишены трибуны.

Теперь об откликах в прессе. Хотя я лично позаботился, чтоб номер журнала с моей статьей был получен во всех толстых журналах и литературных газетах (как иначе можно было преодолеть малый тираж «Литературной Грузии»?), подавляющее большинство изданий красноречиво промолчало, хотя мне доподлинно известно, что по крайней мере в некоторых редакциях статьей зачитывались взахлеб, она ксерокопировалась и размножалась, переходя из рук в руки. Отсутствие публичных откликов меня не удивляет: признать мою правоту не хотят, опровергнуть не могут. Вот и молчат. Ну и Бог с ними.

Зарубежные органы информации, наоборот, уделили моей статье немалое и серьезное внимание, тем самым преподав нам еще один урок подлинной гласности.

У нас же в стране исключение составила только «Правда», удостоившая меня чести дважды (31 марта и 13 апреля прошлого года) полемизировать со мною, да еще все тот же «Огонек», где в статье Н. Ивановой, мимоходом, но вполне уважительно, был упомянут Ваш покорный слуга.

В первой публикации «Правды», озаглавленной «Идолы и жупелы», мой уважаемый оппонент Николай Потапов в чем-то признает резонность моих суждений, а в чем-то с ними не соглашается. Строки его статьи, адресованные мне, носят весьма общий характер, но выдержаны в корректном тоне и поскольку в них нет фактически ни одного конкретного соображения, опровергающего мои аргументы, мне и отвечать ему



ничего. Я признаю право за оппонентом со мной не соглашаться, а за собой сохраняю право — остаться при своем мнении.

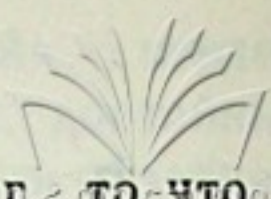
Иное дело статья «Сенсации и факты», принадлежащая перу доктора исторических наук А. Совокина. В полемическом пылу он упрекает меня и в передержках, и в натяжках, и в неумении анализировать реальные факты истории, и в прочих смертных грехах. Но при этом уважаемый доктор исторических наук оказался не в состоянии опровергнуть ни один из 23 пунктов моей статьи. Ведь нельзя же всерьез считать опровержением его утверждение, что декрет от 5 сентября 1918 года об организации концлагерей был подписан не Лениным, а наркомом юстиции Д. И. Курским и наркомом внутренних дел Г. И. Петровским. Как будто этот декрет был разработан и опубликован в те несколько дней, которые прошли после ранения Ленина эсеркой Каплан. А если уж подобное произошло, то кто мешал председателю Совнаркома отменить этот декрет, когда он вновь приступил к исполнению своих обязанностей?

Кстати, на эту тему интересные сведения содержатся в № 10 журнала «Новый мир» за прошлый год. Там на странице 76-й есть такие строки:

«В августе 1918 г., за несколько дней до покушения на него Ф. Каплан, Влад. Ильич в телеграмме к Евгении Бош и пензенскому губисполкому (они не сумели справиться с крестьянским восстанием) написал: «Сомнительных (не «виновных», но сомнительных — А. С.) запереть в концентрационный лагерь вне города». А кроме того: «...провести массовый беспощадный террор...» (это еще не было декрета о терроре).

Цитата эта позаимствована мною не у кого иного, как Александра Исаевича Солженицына, из его труда «Архипелаг Гулаг», с которым, надо полагать, знаком доктор исторических наук А. Совокин, а если нет — настоятельно рекомендую ему внимательно прочитать: это пополнит его знания по обсуждаемому вопросу.

Чтоб быть предельно точным, добавлю, что слова телеграммы В. И. Ленина приводятся А. И. Солженицыным из ПСС, т. 50, с. 143—144. Тут даже невооруженным глазом просматривается стремление А. Совокина и иже с ним во что бы то ни стало вывести из-под критического анализа исторических фактов Ленина, ибо если выяснится (а это становится все более и более неотвратимым), что и Ленин несет ответствен-



ность за то, что делалось после 25 октября 1917 г., то что же остается от Советской власти?

Вот на таком уровне и другие доводы моего оппонента. Но есть одно место в этой сердитой статье, которое нельзя оставить без ответа. А. Совокин спокойно относится, фактически оправдывает массовые репрессии первых послеоктябрьских лет, утверждая, что они были направлены лишь против представителей класса помещиков и капиталистов и полностью игнорируя опубликованные в последние месяцы материалы, из которых явствует, что жертвами чудовищных репрессий в период 1918—1922 годов стали отнюдь не только пособники «иноземных интервентов», что планомерному уничтожению подвергали духовенство, интеллигенцию, ученых, казаков, крестьян, расстреливали рабочие демонстрации и т. д. и т. п. Но все это А. Совокина трогает мало. А вот когда взялись за членов партии, за чекистов, с ног до головы залитых кровью первых жертв режима, вот тогда и только тогда это становится беззаконием и произволом. Вот с этими репрессиями А. Совокин примириться не может.

О том, насколько нравственна такая позиция, предоставляю судить читателю.

В заключение хочу поблагодарить всех, кто прислал мне письма и тем оказал большую моральную поддержку. Заодно приношу извинения, что физически не в состоянии ответить каждому персонально.

Те, кто читал мои книги, знают, что я никогда — ни в годы хрущевского «волюнтаризма», ни в годы брежневского «застоя» не написал ни единого слова неправды, а в годы сталинизма просто не печатался. На том стоял и буду стоять до последнего вздоха.

И верю, что правда, истинная правда победит. История — не та, что пишется наново с приходом к власти каждого нового генсека, а настоящая история, которая будет написана настоящими историками, все расставит по своим местам и воздаст всем сестрам по серьгам.

Аминь.



В начале 1922 года в Тбилиси отмечалось столетие со дня рождения великого русского писателя Ф. Достоевского. Инициаторами этих юбилейных мероприятий были «голубороговцы». Появилось несколько публикаций, приуроченных к дате. Тициан Табидзе писал, что «эти газетные статьи, посвященные столетию, даже ничего не говорят: но это предзнаменование». Наиболее интересной из них оказалось эссе Григола Робакидзе, помещенное в газете «Барикади» (№ 6 за 1922 год). На русском языке оно печатается впервые.

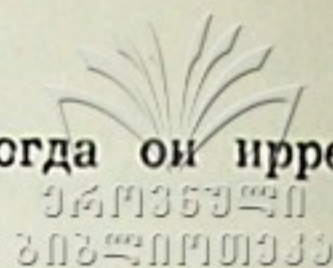
Григол РОБАКИДЗЕ

ДОСТОЕВСКИЙ

Прежде всего поразительно следующее: строгий реалист и вместе с тем крайний ирреалист, Достоевский любил говорить: я реалист, сама реальность есть фантастика. Никто столь реально не воплощал этого сочетания. Гофман уловил ирреальное в совмещении тривиального с фантастическим. Эдгар По постиг ирреальное благодаря мистике математика и сатанинской логике. Достоевский не нуждался ни в первом, ни во втором пути.

Достаточно простому осколку истины попасть в его душу, и это соприкосновение превращает последнего в истинного фантасма. Гете говорил: все сущее есть символ и в его исчерпывающей полноте косвенно обозначено множество значений (из письма к Шубарту). Достоевский несомненно является конкретным оправданием этого гениального высказывания. Сполна осваивая все сущее (когда он реалист), и столь

же исчерпывающе выявляет нечто большее (когда он ирреалист).




Поразительно мирочувствие Достоевского: я в каждом и каждое во мне. Это формула. Нет во мне ничего такого, чего бы не было в другом, и нет в другом такого, чего бы не было во мне. Это мистическое ощущение. Весь феномен Достоевского в этом. Данная черта для него не просто вербальное решение. Наоборот: это для него — живой нерв крайне прочувствованной реальности. В этом тонус его творчества. Для него не существует феномена обезличивания. «Принципум индивидуационис» чужд его взору. Каждое явление для Достоевского есть «этот» и «тот», «первый» и «второй», «второй» и «другой». Его взор затуманен и в нем отражаются различные видения. Душа его перешла в темное и подсознательное, где разыгрывается битва стихийных элементов. «Каждое в каждом» — таково гибридное мирочувствие Достоевского.

Совершенно особо у него и творческое воплощение. Мы знаем, кто есть Отелло. Но мы не знаем, кто есть Карамазов. Или еще точнее: мы знаем, кто он «есть», но мы не знаем, кем он «станет». Характер героев Шекспира высекается с жесткой индивидуализацией. Каждая фигура чеканится пластически выразительно. Характер героев Достоевского отливается по шекспировским контурам, он тоже формируется строгим путем индивидуализации, но одно внезапное отклонение — и перед нами предстает неизвестное лицо, неожиданное и неугаданное. «Отклонение» — «падение» — таков пластический принцип Достоевского. Вместе с тем, этот внезапный «изгиб» и неожиданные провалы происходят так стихийно, что в них проявляется необходимая имманентность. Поток сознания у Достоевского крайне убедителен. Он обращается к истерии, как к средству художественного выражения: это и сплетение многообразия бытия, и не-принятие самого себя, и не-рмещение в самом себе. Удивителен герой Достоевского в состоянии истерии или подавленности ею. Он часто молится, порой даже испепеляется в самопожертвовании или самообречении, но какой-то внезапный «порыв», и тут же готов обрушиться на самого Святого духа. Он часто наивен, прост, несложен, но это лишь маска, за которой кроется сатанинская улыбка, зыбкая и нерешительная. Он часто чуток и ласков к нам, но вместе с тем всегда ждешь от него оплеухи. Страшен его гнев, который нередко завершается смехом, граничащим с сумасшествием. Таковы Карамазовы, князь Мышкин, Гру-

шенька, Настасья Филипповна, Кириллов и многие другие. Фантазия Достоевского — истинный сгусток хаоса.

Вдумайтесь. В «Братьях Карамазовых» есть один очень характерный и значительный пассаж. Дмитрий Карамазов хочет убить отца — Федора Павловича, но последнего фактически убивает лакей Смердяков. А суд признал виновным Дмитрия. Почему? В романе много свидетельств того, что Дмитрий не виновен, но много и других подтверждений его истинной виновности. Достоевский как будто нарочно запутывает фабулу трагедии, чтобы показать несостоятельность суждения о невинности и виновности человека, но это только «на первый взгляд» и «как будто». В действительности же содержание произведения иное: Дмитрий не убивал отца, но он все же является отцеубийцей. В данном парадоксе сомкнут весь этот страшный роман. Прочитайте его тысячу раз и тысячу раз у вас будет впечатление, что Дмитрий убил Федора Павловича, хотя тут же будет сказано, что убийцей последнего является лакей Смердяков. Почему происходит эта аберрация? Дело в том, что, описывая семью Карамазовых, Достоевский не следует по пути строгой индивидуализации, а выходит за пределы гибридных сочетаний. Мы не знаем, где в этой семье кончается первый и где начинается второй, где продолжается третий. Все живут по отдельности и в частном, но в то же время крепко переплетены друг с другом. В самом Федоре Павловиче сосуществуют три его сына: импульсивный Дмитрий, задумчивый Иван, светозарный Алеша. Лакей Смердяков тоже его плоть и кровь: этот ублюдок в радиусе его мерзости и грязи. В этом сплетении вычерчена драма Дмитрия: для того, чтобы жить, он должен убить отца (может быть, здесь имеется в виду и другое: отец, как символ проклятого происхождения — эта линия проходит и у Андрея Белого в «Петербурге»). Его вера, его чувство, его поступки — все устремлено к этому. Идея отцеубийства пронизывает все его существо. Хотя убийство и пугает Дмитрия, это «хотя» по его собственным меркам не настолько сильно. Обстоятельства складываются так, что он должен убить отца. Но «параллельно» это убийство «осуществляет» Смердяков, у которого свои счета.

Вникните в клубок этих противоречий: по внешним признакам убийцей Федора Павловича является Смердяков, хотя истинный убийца его, вне всякого сомнения, Дмитрий. Если не в физическом, то в астральном плане убивает отца он —



именно эта «астральность» и закручивает так сложно фабулу. В этом весь фокус романа: сложность человеческой жизни переходит в астральность, и, конечно, разобраться в этом с помощью «человеческих» мерок нельзя. Тут проявляет себя мистика Достоевского. И способ его пластического воплощения: астрализация. Достоевский-астралист: первый и последний среди людей. На его феномен проливает свет еще одна параллель: Достоевский — Ницше. Достоевский не был знаком с Ницше. Ницше немного знал Достоевского (как говорят, по одному роману «Записки из мертвого дома»). Несмотря на это, схожесть их идей феноменальна. Порой она перерастает в полное тождество. Это окончательно выявил Мережковский в своем монументальном труде «Лев Толстой и Достоевский».

Значительность вопроса состоит в следующем: что предопределило такое конгениальное совпадение? Гибридное мироощущение Достоевского по существу то же, что и дионисийская апперцепция Ницше. «Каждое в каждом»: эта формула гибридного бытия знакома Дионисию — «я в каждом» и «каждое во мне», то же, что превращение в «другого» и превращение в «каждого», палингенезис и метаморфоза. Если гибридное бытие есть «одно» и «второе» и «другое» и «каждое», то дионисийское «превращение в другого» невидимая, несоприкасаемая зона между «одним» и «вторым» и «другим». Не удивительно, что и Достоевским, и Ницше владеют одни и те же идеи, такие, как «преодоление», «верность Земле», «всеобъемлющая любовь к дальнему», которые подтверждают экстатическое соприкосновение, и многое другое.

Но самой важной в ходе проведения параллели между Достоевским и Ницше выступает идея вечного возвращения: учение старой школы Пифагора. Если следовать принципу «реального времени» Бергсона, то возвращение чего бы то ни было невозможно, ибо подразумевает момент времени «тогда» и «сейчас».

Между этими двумя моментами есть существенная разница. В первом это явление создает память. Если что-то возвратилось, то нет разницы во времени и нет памяти в его освоении. В таком случае это не возвращение. По мнению Георга Зиммеля, возможно возвращение мысли, но не для самого возвращающегося, а для познания сущности находящегося вне его. Ясно: в рациональных терминах эту идею не скрыть. Но природа этого явления настолько иррациональна,



что оправдана в мистике. Если «я» есть в «каждом» и «каждое» есть во «мне», тогда «ничего нет во мне, чего бы не было в каждом», и этим же путем — «ничего нет в каждом, чего бы не было во мне». Значит, в кого бы я ни превратился, во мне будет каждый, и соответственно — в кого бы ни превратился каждый, я буду в нем. Здесь поворот совершается в кругу «обстоятельств». В оставшихся после Ницше бумагах были обнаружены таинственные слова: то, что все вернется, и есть экстремальное приближение мира поведения к миру бытия — «вершина наблюдений». В этом космическое подтверждение личности. Творчество Достоевского и Ницше не является мученическим. Идея вечного возвращения — это идея «всебытийности» (Достоевский) и «дионисийности» (Ницше). Всебытийность существует в образе Христа — для Достоевского, дионисийность для Ницше — в Дионисии. Отсюда формула: Христос, рожденный в человеке, — есть Бог. Дионисий, рожденный в человеке, — сверхчеловек. Ницше всю свою жизнь боролся с Христом. Он не знал, что Дионисий — языческая ипостась Христа. Хотя в момент безумия ощутил это, поставив под одним интимным письмом подпись — «Распятый». Достоевский ничего не знал о Дионисии. Но всем своим существом осознавал его наличие. Произошло последнее совпадение: если состоится космическое превращение личности, она перерастет в сверхчеловека — Бога, тогда сам Бог (Дионисий или Христос) умирает в человеке. Тут имманентное действие как будто делает излишним трансцендентное бытие. И это была последняя (притом опасная) идея Ницше.


Та же идея сожгла Достоевского, как и Кириллова.

Достоевский всецело пригвоздил личность к распятию ради того, чтобы в человеке родился Бог. Именно этот процесс, служивший для него оправданием существования планеты — Земля, и есть трудная, жгучая, страшная тайна. Для того, чтобы это планетарное явление воплотить в конкретный образ, он проводит его через земные прелюбодеяния и силы матери: всюду женщина и везде деньги; inferнальность первой и сатанинская сущность вторых. Стираются грани садистские и мазохистские: воистину вся суть двойного мучения планеты — горькое и сладостное. Достоевский не приемлет Землю, не приемлет сущего. Когда он идет по земле, перед ним разверзаются пропасти. Когда прикасается к предметам, рождаются астралы. Он несет разложение и проклятие. Ни в чем



не знает предела, ибо находится в состоянии вечного пароксизма. Он враг всего сущего и воплощенного.

Взор некоторых обращен на Землю и на вещь, причем с любовью. Таковы: Гомер, Тициан, Гете, Пушкин. Достоевский не останавливается на Земле, он жаждет иного. Поскольку видоизменяется и то, и другое, Достоевский не может охватить своим взором это бесконечное развитие («банка с пауками»). Он одержим стремлением одним ударом изменить Вселенную. В этом проявляется эпилепсия в виде эпифеномена катастрофической ломки; то, что представляет собой истерия в образных изгибах Достоевского — это и есть эпилепсия в его эсхатологическом мироощущении. Заслуживает внимания то обстоятельство, что Достоевский был болен этим «злонравием». Эпилепсия как не терпение времени и его продолжительности. Тут он прямо оркестр с острова Патмос. Апокалипсис — это безумие Достоевского. Он рушит Вселенную, рушит планеты и, подобно Иоанну, взор его устремлен на другую Землю и другое небо. Иногда он воспевает это грядущее высочайшее блаженство эпилептическим бредом Кириллова, иногда за просветленными и медлительными речениями отца Зосимы ему грезится новая Земля, иногда через образы Алеши, Коли Красоткина или феномен Мышкина провидит новую человеческую культуру. Но главное его свойство все-таки апокалипсическая одержимость холерическим темпераментом. Мироощущение Достоевского опалено и рождено таким мощным тоном, что он вполне справедливо заслуживает эпитета «планетарный». Отсюда и воздействие его слова. Если, согласно поэту, «слова воздействуют на атмосферу», то в первую очередь это должно быть сказано о Достоевском, читая которого, вы постепенно отдаляетесь от реальности и переходите в ирреальное. И с этой точки зрения мало кто может сравниться с ним. Прав Владимир Соловьев, когда называет его слово «магическим». Говорят, что форма у Достоевского не годится. Я утверждаю: его планетарного переживания иная форма не выдержала бы. Утонченная французская форма, свойственная, например, Флоберу, этот тончайший инструмент светлого гения яттинян, никак не смогла бы передать гибридного мироощущения Достоевского. Не владея пластической чеканкой при овеществлении сущего, он наделен астральным флюидом. Его способ пластического воплощения — в свойственной ему склонности все приводить в астральное соприкосновение с вещью или явлением. Эпилептическое ви-



денне никто не передавал так, как это сделал Достоевский в сложном или бредовом монологе Кириллова: тут каждое слово — настоящая сейсмография дальнего соприкосновения астралов. Этот магический стиль с особенной силой проявляется в его диалогах. Сегодня уже очевидно, что диалог Достоевского непостижим, и здесь он сравним только с Платоном. К этому следует добавить, что диалог у Платона диалектический, а у Достоевского — драматический: если там динамика интеллектуального потока, то тут динамика планетарного наваждения.

Публикация и перевод Мананы НИНИДЗЕ



МАРИНА КШОНДЗЕР

«УЖЕ НЕ Я ПОЮ—

ПОЕТ МОЕ ДЫХАНЬЕ»

(Грузинская действительность в восприятии
О. Мандельштама)

Проблемы восприятия инонациональной культуры и среды. Па также воплощение инонациональной тематики в творчестве писателя становятся все более актуальными на современном уровне развития литературоведения.

В этой связи отражение грузинской действительности в творчестве О. Мандельштама дает интересный материал для анализа. С одной стороны, сам объект восприятия (Грузия, ее культура, нравы, особенности национального характера) традиционен для русской литературы, выработавшей определенные стереотипы в изображении этой темы; с другой стороны, творчество О. Мандельштама с его ярко выраженным личностным началом позволяет открыть в данной проблематике новые грани, обусловленные мироощущением художника.

Грузия привлекала О. Мандельштама, в первую очередь, как традиционная тема русской поэзии. Как известно, творчество поэта пронизано ассоциациями из мировой классической и особенно русской литературы, поэтому неудивительно, что первоначальное восприятие Грузии у него происходило через Пушкина и Лермонтова.




Однако со свойственной поэту склонностью к выявлению сущности явлений Мандельштам не только констатирует факт, но и пытается объяснить его истоки. В этом плане чрезвычайный интерес представляет очерк О. Мандельштама «Кое-что о грузинском искусстве», напечатанный в газете «Советский Юг» в 1922 году. Говоря об интересе русских поэтов и писателей к Грузии, автор находит «грузинскую традицию» в русской поэзии: «В русской поэзии есть грузинская традиция. Когда наши поэты прошлого столетия касаются Грузии, голос их приобретает особую женственную мягкость и самый стих как бы погружается в мягкую влажную атмосферу».

Мандельштам пытается установить закономерности развития грузинской темы в русской поэзии, опираясь на стихи Пушкина и Лермонтова: «Я бы сказал, что в русской поэзии есть свой грузинский миф, впервые провозглашенный Пушкиным, — Не пой, красавица, при мне Ты песен Грузии печальной, — и разработанный Лермонтовым в целую мифологию с мифом о Тамаре в центре».

В этом рассуждении интересна попытка Мандельштама проследить за генезисом развития грузинской темы в русской литературе, что позволяет определить отношение поэта к данной проблематике и, исходя из этого, проанализировать его собственное творчество. Называя Грузию «обетованной страной поэзии» для русской литературы, поэт поясняет свою мысль: «Грузия обольстила русских поэтов своеобразной эротикой, любовностью, присущей национальному характеру, и легким целомудренным духом опьянения, какой-то меланхолической и пиршественной пьяностью, в которую погружена душа и история этого народа. Грузинский эрос — вот что притягивало русских поэтов. Чужая любовь всегда была нам дороже и ближе своей, а Грузия умела любить. Ее старое искусство, мастерство ее зодчих, живописцев, поэтов проникнуто утонченной любовностью и героической нежностью».

Итак, Мандельштам видит истоки грузинского мифа в русской поэзии в особенностях грузинского национального характера, основной чертой которого он называет «грузинский эрос». Поэта восхищает самобытность и оригинальность грузинской культуры, поэтому его волнует проблема сохранения этой самобытности. В этой связи автор поднимает вопрос о взаимоотношениях русской и грузинской культур, отмечая, что русская культура никогда «не навязывала Грузии своих



ценностей», что русификация «никогда не шла дальше форм административной жизни», а о культурной русификации не было и речи. Говоря о сущности грузинской культуры, поэт определяет ее как орнаментальную, тяготеющую к Востоку, но не сливающуюся с ним. В качестве образца подлинно национального и в то же время глубоко интернационального искусства поэт приводит творчество выдающегося грузинского художника-самоучки Нико Пиросманашвили, искусство которого, с одной стороны, глубоко национально, а, с другой, доступно любому народу, так как мир чувств и переживаний, отраженный в его картинах, носит общечеловеческий характер.

Если в области грузинской живописи О. Мандельштам без колебаний выделяет яркую фигуру Пиросманашвили, то в области поэзии такой фигурой, по его мнению, является Важа Пшавела. Русского поэта восхищает мощь его поэм, и он старается передать ее в своем переводе поэмы Важа Пшавела «Гоготур и Апшина». В очерке «Кое-что о грузинском искусстве» Мандельштам дает очень высокую оценку творчеству Важа Пшавела, считая его поэтом, представляющим «европейскую ценность»: «Это был настоящий ураган слова, пронесшийся по Грузии, с корнем вырывавший деревья...

В нем клокочет вещественность, осязаемость, бытийность. Все, что он говорит, невольно становится образом. Но ему мало слова — он его как бы рвет зубами на части, широко пользуясь и без того страстным темпераментом грузинской фонетики...»

Именно эти черты грузинской поэзии — ее страстность, музыкальность, фонетическую гибкость и певучесть, — Мандельштам пытался воспринять и приблизить к звучанию русского стиха. О том же свидетельствуют и его переводы стихотворений В. Гаприндашвили, Г. Леонидзе и уже упоминавшийся перевод поэмы В. Пшавела «Гоготур и Апшина» и, конечно же, оригинальные стихотворения, посвященные Грузии.

Глубокий интерес к духовной культуре страны, проявившейся в художественно-публицистической форме в очерке о грузинском искусстве, находит свое непосредственное воплощение в стихах поэта, отражающих грузинскую действительность. Влияние грузинского колорита ощущается как в описании реалий быта, в изображении нравов и обычаев, в употреблении чисто грузинских наименований «сазандарн», «чинара», «Телиани», так и в метрике и ритмике стиха. В



стихотворении «Мне Тифлис горбатый снится» автор ^{пытается} средствами русского стихосложения передать ^{музыкальность} и певучую напевность грузинского стиха, его мелодику и ритмику. Стихотворение уникально в своем роде: оно представляет великолепный образец русского классического стиха с его силлабо-тоническим строем и в то же время удивительно четко передает музыку грузинской речи. Не случайно Мандельштам, по словам К. Надирадзе, так чутко вслушивался в мелодику грузинского стиха, пытаясь подобрать к непривычным звукам и интонациям русские эквиваленты. Стихотворение «Мне Тифлис горбатый снится» — маленький шедевр, передающий широту и размах грузинского духа. Используя оригинальный способ рифмовки, Мандельштам приближает русский стих к свободному и плавному звучанию грузинского тонического стиха:

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит...
Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...

Образы стихотворения, безусловно, навеяны картинами Нико Пиросманашвили, творчеству которого Мандельштам дает высокую оценку в очерке «Кое-что о грузинском искусстве».

Если в стихотворении 1920 года «Мне Тифлис горбатый снится» это влияние проявляется в основном в метрике и ритмике стиха, то есть передаче формы, то в позднейших стихотворениях, связанных с Грузией, прослеживается более глубокая внутренняя связь с общими мировоззренческими установками поэта. Стихотворение «Еще он помнит бабмаков износ», написанное в 1937 году, проникнуто ностальгическими воспоминаниями о Тифлисе — городе, в котором поэт бывал в самые тяжелые и переломные периоды своей жизни и который воплотил «с необыкновенной силой слова и силой любви, остротою зрения и чуткостью слуха» (Г. Маргвелашвили). Для творчества Мандельштама харак-

терен глубокий историзм, ощущение кровной связи с прошлым и в то же время понимание своей «несопряженности» с миром. Тема времени лейтмотивом проходит через все творчество Мандельштама. Поэту никак не удается быть в гармонии с веком: он не считает себя сыном своего времени, а, с другой стороны, хочет быть с веком наравне. Особенно явственно эти противоречивые настроения отражены в стихотворении — «Нет, никогда ничей я не был современник»:

Нет, никогда ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой...

Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских...

Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

В стихотворении «Еще он помнит башмаков износ» тоже звучит мотив времени, имеющий оттенок грусти. Поэт с теплотой и любовью вспоминает Тбилиси — живой и одновременно величавый город, соединяющий в себе мудрую древность веков с разноголосым гомоном сегодняшнего дня. В то же время Мандельштам отмечает и обратную связь — любимый им город помнит его, в этом и состоит ощущение той связи с миром и со временем, к которой всю жизнь стремился поэт и которую он чувствовал только в Грузии и в Армении:

Еще он помнит башмаков износ,
Моих подметок стертые величье,
А я его, — как он разноголос,
Черноволос, с Давид-горой гранич.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы — пролазы —
Балкон — наклон — подкова — конь — балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы...

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света,
А город так горазд и так уходит в крепь,
И в моложавое, стареющее лето.

Мандельштама привлекала в Грузии ее мудрость столетий, величественность природы, но главное, что притягивало поэта — это атмосфера духовного благородства, тепла и доброжелательства. Грузинские поэты стали друзьями Мандельштама уже в первый приезд его в Грузию в 1920 году, когда Мандельштам и Эренбург почувствовали теплоту, сердечность и истинное благородство грузинских собратьев по перу.

Ощущение кровной связи со страной, бескорыстная любовь к ней в ответ на ее любовь и дружеская интонация пронизывают еще одно стихотворение о Грузии 1937 года — «Пою, когда гортань — сыра, душа — суха...» Мандельштам слагает вдохновенную песнь в честь Грузии, и песнь эта исходит из самых недр души поэта, выражая его сокровенные чувства:

Пою, когда гортань — сыра, душа — суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
А грудь стесняется — без языка — тиха:
Уже не я пою — поет мое дыханье —
А в горных ножнах слух, и голова глуха...

У поэта не хватает слов для выражения испытываемых им чувств, он не может найти подходящих выражений: грудь стеснена, голова глуха, поет только дыханье. Строка «уже не я пою — поет мое дыханье» вызывает определенные ассоциации с тибетскими строками: не я пишу стихи — они меня, как повесть, пишут. Хотя художественские позиции обоих стихотворений различные (у Т. Табидзе главенствует идея первостепенной значимости искусства, его власти над художником, а у Мандельштама антитеза направлена на выявление внутреннего глубинного «я» художника), на наш взгляд, в самом противостоянии этих позиций (конечно, не исключая, а скорее, дополняющих друг друга) может быть выявлена их духовная близость. Мандельштам подчеркивает определяющую роль художника в искусстве, у Т. Табидзе

эту роль выполняют его стихи, как бы отторгнутые от поэта и, в свою очередь, влияющие на его творчество.

Однако в конечном счете это две стороны одного процесса. Полярные на первый взгляд точки зрения поэтов позволяют выявить диалектическую связь между ними. Подчеркивая бескорыстие своей песни, ее естественность и органическую связь с природой и бытом края, который он воспеваает, Мандельштам тем самым подтверждает и титановскую мысль о великой роли искусства в жизни художника.

Воздействие грузинской среды и культуры на О. Мандельштама ощущается как во внешнем построении стиха, так и в идейно-смысловом отношении. Обращаясь к «грузинской» теме в самый трагический период своей жизни, поэт ретроспективно пытается воспроизвести в памяти счастливые дни, проведенные в Грузии, и хотя бы в стихах создать иллюзию гармонии с внешним миром, которую он ощущал на грузинской земле.

Таким образом, грузинская действительность в прозе и стихах Мандельштама отражена достаточно широко: это и проблемы искусства, и особенности национального характера, и описание грузинского быта. Оставаясь подлинно русским поэтом, но испытав воздействие инонациональной среды, он обогатил свой художественный мир конкретными реалиями и эстетическими достижениями другой культуры.

Роль творческой индивидуальности автора при восприятии и изображении инонационального материала чрезвычайно велика: ведь именно в процессе восприятия иной культуры художник находит порой такой ракурс, который представителям этой культуры до поры остается неведом. Благодаря «внезаходимости» по отношению к грузинской культуре (наряду с постоянным «вживанием» в нее) Мандельштаму удалось нащупать актуальнейшую проблему грузинского искусства 20-х годов (и, как показало время, не только 20-х) — необходимость сохранения его самобытности и традиций национального духа. В стихотворениях, посвященных Грузии, автор не только воспринял отдельные элементы структуры грузинского стиха, но и попытался наметить глубокую внутреннюю связь с духовной жизнью Грузии, ту самую обратную связь, при которой художник и изображаемая им действительность взаимно влияют друг на друга.



И. ТЕРЕНТЬЕВ И ГРУЗИЯ

В конце 1988 года в Италии вышло в свет Собрание сочинений Игоря Герасимовича Терентьева¹ (составление, подготовка текста, биографическая справка, вступительные статьи и комментарии Марцио Марцадури и Татьяны Никольской), включающее в себя стихотворения, инсценировки и киносценарии, теоретические и полемические статьи, а также письма поэта и театрального деятеля, который в свое время был хорошо известен и о котором современный читатель почти ничего не знает.

Книга эта вызывает большой интерес. Во-первых, она стирает еще одно «белое пятно» в истории русской литературы, а, во-вторых, — вписывает еще одну, малоизвестную страницу в летопись русско-грузинских общественно-литературных взаимоотношений. Об этом мне и хочется рассказать, используя материалы, опубликованные в упомянутой книге.

Судьба И. Терентьева была очень сложной и трагической. Родился он 17 января 1892 года в Павлограде Екатеринославской губернии (Днепропетровской области) в семье жандармского полковника. В 1902 году семья Терентьевых переехала в Харьков, где в 1910 году, окончив гимназию, Игорь Герасимович продолжил учебу на юридическом факультете Харьковского университета и в художественном училище. Здесь он увлекся футуризмом, в русле которого долгие годы развивалось его творчество.

Как указано в современных литературных энциклопедиях и словарях, футуризм как авангардистское художественное течение зародился в начале нашего столетия в Италии, получив распространение в ряде европейских стран. Однако наиболее полно, хотя и с резкой, подчас противоположной итальян-

¹ Терентьев Игорь, Собрание сочинений, S. Francesco, Bologna, 1988.

скому футуризму идейной направленностью это течение проявило себя в 10—20-х гг. в России. Русский футуризм характеризовался стихийным осознанием «неизбежности крушения старья» (В. Маяковский), стремлением осмыслить через искусство наступающий «мировой переворот» и «рождение нового человечества». Футуристы считали, что художественное творчество есть не подражание, а продолжение природы, что оно должно сквозь призму творца создать «новый мир, сегодняшней, железный» (К. Малевич). Поэтому футуристы стремились разрушить условную систему литературных жанров и стилей, вернуться к фольклорно-мифологическим «первоначалам», когда язык был «частью природы» (В. Хлебников).

Провозвестниками русского футуризма явились «Пролог эгофутуризма» (1911) И. Северянина и сборник «Пощечина общественному вкусу» (1913), изданный московскими поэтами-«гилейцами», позднее названными кубофутуристами. Русское футуристическое движение не было цельным течением с единой программой и центром, а состояло из нескольких соперничавших групп. М. Горький отмечал антибуржуазный характер этого движения, его эстетические новации. Аналогичную оценку дал русскому футуризму и А. Блок, который в 1913 году писал: «Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм... Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это — более земное и живое, чем акмеизм»². Тот же А. Блок подчеркивал, что анархический бунт футуристов в эстетике был обусловлен историческими условиями. «Русский футуризм, — писал он, — был пророком и предтечей тех страшных карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции»³. Внутренняя противоречивость русского футуризма была обусловлена тем, что он родился в условиях нового демократического подъема в стране и одновременно — растущего духовного кризиса интеллигенции.

Подлинно революционную роль сыграли футуристы в трактовке поэтического слова, которое отождествлялось с вещью, было вытолкнуто в зону физических фактов. Слово футуристов, особенно В. Маяковского, было направлено на переустройство действительности. Но эта установка, превращаясь в свою противоположность, порой выступала как требование пе-

² Блок А. Собр. соч., М., 1963, т. 7, с. 232.

³ Там же, 1962, т. 6, с. 181.

ределки естественного языка (поскольку его элементы смешивались с обозначаемыми предметами). Тогда языковая структура подвергалась различным трансформациям вплоть до зауми.

Футуристы пришли в литературу в предгрозовое время, с невиданной дотоле дерзостью подняв руку на традиции классической поэзии и поставив под вопрос все до тех пор несомненные авторитеты. Этим молодым самоуверенным людям многое в то время казалось чрезвычайно простым и легко достижимым, в то же время все в их сознании было отмечено внутренней противоречивостью. Они пытались противопоставить «устаревшим», с их точки зрения, идеалам свою новую эстетико-модернистскую веру.

Эта вера оказалась чрезвычайно притягательной для юного Игоря Терентьева, с 1912 года продолжившего учебу на юридическом факультете Московского университета, который он окончил в 1914 году. В Москве он знакомится с семьей В. Ходасевича, а также с поэтом-футуристом К. Большаковым, которые способствовали приобщению И. Терентьева к новому литературному течению.

Здесь же в Москве произошла еще одна знаменательная встреча со слушательницей Высших женских курсов, уроженкой Тбилиси, Наталией Карпович. Они полюбили друг друга, и И. Терентьев, окончив университет, переехал в 1916 году в столицу Грузии, где, женившись, прожил до 1923 года. Здесь он стал одним из активных участников группы русских футуристов-заумников, получившей известность под названием «41°» (по географической широте, на которой расположен Тбилиси). Группа эта, ядро которой составляли Илья Зданевич, Алексей Крученых, Игорь Терентьев, Николай (Колау) Чернявский, опубликовала несколько сборников стихов и выпустила газету под названием «41°».

В январе 1922 года И. Терентьев выехал в Константинополь, где вместе с критиком Ю. Терапиано создал отделение «41°». Он собирался в Париж к сживавшему его там К. Зданевичу, однако эта поездка не состоялась, и он вернулся в Тбилиси.

Осенью 1922 года И. Терентьев на месяц выехал в Баку, где предпринял попытку организовать отделение «41°». «В Баку пробуждение новых сил еще заметнее, — писал он. — Там очень тепло встретил меня комсомол. Они задумали большое дело и пригласили посоветовать. «Союз Молодого Искусства» — так проектировали они свой устав:

1. Ориентация на коммунистическую партию и комсомол.

2. Ориентация на техническую революционность футуризма.

3. Художник-изобретатель, но в изобретении есть свой производственный момент, который определяет все бытие искусства.

Около месяца происходили наши беседы о футуризме. Устав должен был утверждаться в парткоме. Начали еще до утверждения возникать в университете, политехникуме, Консерватории, рабочем клубе — ячейки этого союза.

Мой отъезд в Москву, разумеется, не остановит этого самостоятельно начатого дела и надо ждать хороших вестей с юга»⁴.

Несколько позже А. Крученых пытался перенести деятельность «41°» в Москву, И. Зданевич — в Париж, а И. Терентьев — в Петроград.

В апреле 1923 года И. Терентьев переехал в Москву, где сотрудничал в журналах «Лэф» и «Крысодав», а в конце августа того же года перебрался в Петроград. Здесь в то время К. Малевич реформировал Музей художественной культуры, известный позже под именем ГИЧХУКа. И. Терентьев возглавил фонологический отдел, превратив его в центр по изучению зауми, которая была призвана разрушить монополию значения слов, высвободить их заумный смысл. Позже И. Зданевич писал в Париже о том, что новая школа обнаружила существование звуковых ассоциаций и доказала их решающую роль в возведении поэтических конструкций; разрушила лицемерие предшественников и разобрала конструкцию непристойности и брани; показала ненужность понятий дара и таланта, выделив значение случая и самостоятельного построения; выдвинула на первый план роль голоса в поэзии; обнаружила синтетические звуки и оркестровую поэзию; в общем явилась поэтической школой, опирающейся на самые прочные в мире основания и почву⁵.

Так считал И. Зданевич, так полагал и его единомышленник И. Терентьев, который, однако, так и не смог осуществить своего намерения возродить «41°» в Петрограде.

⁴ Терентьев И. «Лэф Закавказья», «Лэф», 1923, № 2.

⁵ Буачидзе Гастон, «Через 41°», Литературная Грузия, 1989, № 7, с. 171.

Поняв, что он потерпел неудачу, И. Терентьев активно включается в театральную жизнь. Он ставит спектакли в петроградских рабочих клубах и самодеятельном театре, а в начале 1924 года поступает в студию Шимановского, где 1 мая осуществляет постановку пародийной интерпретации «Снегурочки» А. Н. Островского — «пасхальную агитку», как писала в рецензии поэтесса Л. Лесная. Спектакль имел успех и был повторен 130 раз в разных рабочих клубах.

В конце 1924 года студия Шимановского преобразуется в Государственный агитационный театр, в котором И. Терентьев ставит первую «Живую газету» и принимает участие в постановке второй и третьей.

И. Терентьев считая, что помочь революции нужно созданием актуальных спектаклей, пусть отвечающих только «злобе» дня, но ударно воздействующих на жизнь. По сути дела в этот период он был за социальный заказ, когда художник дает лишь «оформление» лозунгу, выступает как «техник» искусства, ставя себя на службу насущной борьбе.

22 марта 1925 года И. Терентьев поставил на сцене Госагиттеатра политфарс Владимира Вознесенского «Необходимость». Несмотря на слабость пьесы, И. Терентьев сумел создать интересный спектакль. По словам одного из рецензентов, «политфарс «Необходимость» — яркий образчик типично режиссерского спектакля, где режиссер благодаря фантазии и трактовке положений, комбинации ритмов, своей железной логике и необычайной находчивости делается автором данного спектакля. «Необходимость» — спектакль режиссера И. Терентьева. Автор пьесы в таком спектакле играет скромную роль канвы, по которой рассыпаны пышные узоры»⁶.

В октябре 1924 года И. Терентьев вместе с руководителями рабочей самодеятельности Г. Авловым, Е. Гершуни, И. Кролем, В. Вольфом основывает Красный театр, на сцене которого с успехом ставит свою пьесу «Джон Рид», в основу которой легла книга «Десять дней, которые потрясли мир». Как писал журнал «Рабочий театр», эта постановка «представляется наиболее интересным событием начавшегося театрального сезона»⁷. По словам С. Абашидзе, «терентьевская постановка «Джона Рида» заставила говорить об этом режис-

⁶ См. Булгаков А., Данилов С. «Государственный агитационный театр в Ленинграде 1918—1930», М.-Л., 1931, с. 50.

⁷ «Рабочий театр», 1924, № 8, с. 9.

сере как о создателе поэмы советской гражданственности на сцене»⁸.

Разногласия с Г. Авловым вынудили И. Терентьева уйти из Красного театра. Он начинает работать в Академическом театре драмы (бывшем Александринском) над постановкой пьесы К. Тренева «Пугачевщина». Однако премьера не состоялась из-за разногласий между режиссером и актерами, закончившихся тем, что И. Терентьев вынужден был уйти и из этого театра.

В начале 1926 года он создает экспериментальный Театр Дома печати, на сцене которого в 1926—1927 гг. ставит свои нашумевшие спектакли по пьесе Василия Андреева «Фокстрот», по своей пьесе «Узелок», а также оперу В. Кашницкого «Джон Рид» и гоголевского «Ревизора». Спектакли эти, как и многие другие постановки И. Терентьева, вызвали различные отклики — от полнейшего неприятия до безусловного одобрения. Более полувека спустя В. Шкловский вспомнил «прекрасную постановку «Ревизора» Игоря Терентьева в ленинградском Доме печати»⁹. Однако многие современники восприняли эту постановку как попытку гальванизировать идеи «41°», что вызвало резкие отклики прессы. Лишенный финансового обеспечения, театр вынужден был приостановить свою деятельность.

В трудное время театру очень помогли А. Крученых, К. Зданевич, В. Катанян и др. Спектакли Театра Дома печати возобновились в 1928 году инсценировкой романа пролетарского писателя С. Семенова «Наталья Тарпова». Много лет спустя писатель Геннадий Гор, бывший в то время студентом Ленинградского университета, так вспоминал об этом спектакле: «Роман С. Семенова «Наталья Тарпова» Игорь Терентьев перенес на сцену, не изменив даже ни одной запятой. Действующие лица говорили о себе в третьем лице словами автора. Реплика жила на сцене той же жизнью, что и диалог. Это было волшебное превращение сцены и в книгу, и в жизнь, которую режиссер перелистывал вместе со зрителем.

Терентьев повесил над сценой огромное зеркало и впервые за всю историю театра показал своих героев одновременно в двух разных местах: в вагоне и дома. Вагон и квартира — это были два полюса, два разных измерения.

⁸ «Рабочий театр», 1926. № 11, с. 11.

⁹ Шкловский В. «Ветер наполняет паруса», «Литературная газета», 1984, № 7, с. 8.

Отраженный в зеркале интерьер спального вагона стал рельефным, как деталь в прозе Олеси. Обыденные мелочи жизни были показаны словно через лупу. Роман С. Семенова на сцене стал вдруг полифоничным, напоминал прозу Федора Михайловича Достоевского.

Терентьев в крошечном театре на двести мест продемонстрировал необыкновенное режиссерское искусство, умение показать жизнь в ее разбеге, в движении, в разрезе, во всех аспектах, жизнь, какой она всегда бывает на улице и дома и почти никогда — на сцене»¹⁰. Сергей Юткевич также считал, что «Терентьев создал интересный спектакль, ...применив обыкновенное зеркало»¹¹.

Вскоре после «Натальи Тарловой» И. Терентьев поставил новую версию «Ревизора», а в мае труппа отправилась на гастроли в Москву, где на сцене Театра им. Мейерхольда показала «Джона Рида», «Ревизора», «Наталью Тарпову».

Говоря о режиссерском кредо И. Терентьева того периода, М. Марцадури отмечает, что он «настаивал, главным образом, на четырех принципах: антидраматическом, повествовательном характере своего текста (для которого он создал формулу: «Живая книга вместо пьес»), антииллюзионистской концепции спектакля, согласно которой театр есть слово и жест («Слово — движение»), демиургической функции режиссера, экспериментальном критерии всякого представления... Центральной фигурой театра становится режиссер: он заключает в себе «и начало будущей драматургии, и технику нового актера, и живое отношение к современной общественности»... Терентьев определил свою ориентацию как **натуризм**, дав ему следующее определение: «Натуризм знает, как превратить абстрактную формулу в живой предмет и как можно самую неряшливую бытовую вещь сделать предметом чистой формы, как надо агитировать, как надо бороться против мертвой аполитичности»¹².

После московских гастролей труппа И. Терентьева распалась, а сам он стал одним из зачинателей Театра Лефа (те-

¹⁰ Гор Г. «Замедление времени», «Звезда», 1968, № 4, с. 185.

¹¹ Юткевич С. «Магическое зеркало», «Литературная газета», 1983, № 40, с. 10.

¹² Марцадури М. «Игорь Терентьев — театральный режиссер». В кн.: Терентьев Игорь. Собр. соч., с. 51—52.

атра факта, новой культуры и техники) и сотрудником «Нового Лефа». По словам М. Марцадури и Т. Никольской, «И. Терентьев приблизился к «Новому Лефу», в особенности к фактографической линии журнала, которую считал предваренной им в Тифлисе. Он был среди зачинателей «Лен-Лефа» и нашел в Сергее Третьякове страстного защитника своего театра.

В августе 1928 года И. Терентьев представил прошение об открытии в Москве Театра Лефа... В октябре он начал сотрудничать в «Новом Лефе», руководимом теперь С. Третьяковым, где опубликовал проекты постановок и статью «Антихудожественный театр», в которой были сконцентрированы его идеи о новом театре факта. 7 декабря поставил оперетту «Луна-парк» В. Ардова и Н. Стрельникова в Московском театре оперетты»¹³.

Театральные искания И. Терентьева шли в том же русле, что и В. Мейерхольда. Но он не был эпигоном, ибо «Мейерхольд сознательно завершал период авангардного экспериментирования, Терентьев, напротив, тщетно претендовал вновь открыть его»¹⁴.

С начала 1929 года начинается новый этап в жизни и творчестве И. Терентьева. Он переезжает в Харьков, где вступает во Всеукраинскую ассоциацию работников коммунистической культуры (ВУАРКК). И. Терентьев входит в редакцию основанного в 1928 году украинским поэтом Михаилом Семенко журнала «Нова генерація» («Новое поколение»), на страницах которого публикует свои статьи. Журнал этот, в котором сотрудничали Маяковский, Асеев, Брик, Третьяков, Шкловский, Матюшин, Эйзенштейн, Вертов, Татлин, Малевич и др., был последним могиканином творческого авангарда. На Украине И. Терентьев возобновил и свою режиссерскую деятельность. Он ставит на украинском языке спектакли «Инкогнито» (по произведениям Гоголя «Ревизор» и Г. Квитки-Основьяненко «Приезжий из столицы») и «Мину Мазайло» Микола Кулиша в Херсонском украинском драматическом театре СОЗ («Соціалістичне змачання» — «Социалистическое соревнование»), руководителем которого являлся в 1929 году,

¹³ Никольская Т., Марцадури М. «Игорь Герасимович Терентьев. Биографическая справка». В кн: Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 18.

¹⁴ Марцадури М. «Игорь Терентьев — театральный режиссер». Там же, с. 54.

и «Чудака» Александра Афиногенова в Одесском драматическом театре им. Революции. Затем И. Терентьев переезжает в Днепропетровск, где весной 1930 года ставит на сцене Днепропетровского драматического украинского театра им. Т. Шевченко сатирическую комедию Александра Безыменского «Выстрел» в украинском переводе.

Осенью 1930 года открылся ТРОМ (Театр Работничой Молоди — Театр рабочей молодежи), которым до середины 1931 руководил И. Терентьев. На сцене этого театра он осуществил постановку инсценировки по роману украинского писателя Ивана Ле «Межгорье».

В своих теоретических статьях И. Терентьев высказывает немало оригинальных мыслей и положений, многие из которых не утратили своего значения и по сей день. В частности, особенно важна его идея, согласно которой «строить театр нужно на звуке — чуть дополняя зримым материалом — и на движении, поскольку движение — рефлекс на звук». По словам М. Гижимкрели, эта «мысль тонка и плодотворна для театральных исканий вообще»¹⁵.

В 1931 году И. Терентьев был арестован, год провел в тюрьме, а затем приговорен к пяти годам лагерей и отправлен на строительство Беломорского канала. Организованная им здесь из воров и проституток театральная труппа, названная Повенецкой агитбригадой, стала известна далеко за пределами лагеря. Некоторое время спустя И. Терентьева и его бригаду перевели на строительство канала Москва—Волга. «Утопия пролеткультовского и авангардно-массового агитационного театра, — пишет М. Марцадури, — который на место вымысла ставит жизнь, чувство заменяет воспитанием, пассивное восприятие — активным участием, мечта о театре, который «формировал и преобразовывал», осуществилась столь причудливым образом уже далеко за пределами всех, даже самых дерзких фантазий ее теоретиков, среди которых был как раз и Игорь Терентьев»¹⁶.

В 1935 году И. Терентьева освободили, и он приступил к экранизации романа И. Овчаренко «Восстание». Однако фильм так и не вышел на экраны. В середине 30-х гг. И. Те-

¹⁵ Гижимкрели М. «Известен ли вам этот портрет?» «Вечерний Тбилиси», 1989, № 219.

¹⁶ Марцадури М. «Игорь Терентьев — театральный режиссер». В кн.: Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 73.

рентьев работал над сценарием музыкального фильма «Евгений Онегин» и создал цикл стихотворений, посвященный В. Маяковскому, который также не был опубликован.

В 1937—1939 гг. И. Терентьев как вольнонаемный работает на строительстве канала Москва—Волга. В 1939 году он вновь арестован и в 1941, как полагают Т. Никольская и М. Марцадури, расстрелян.

Таков краткий абрис жизни и творчества И. Терентьева, одна из интереснейших страниц которых связана с Грузией. Страница эта совпала с периодом интенсивных творческих исканий новых поэтических средств отображения новой действительности. Субъективная революционная настроенность И. Терентьева сочеталась в его творчестве с типичной для футуристов «левой» эстетической программой (скепсис по отношению к классическому наследию, словотворчество, пропаганда заумного языка, или зауми и т. п.). Эти искания шли в русле своеобразного и сложного историко-литературного процесса, происходившего и в Грузии, сущность которого «заключалась в том, что писатели различных поколений и разных талантов, разных политических и эстетических взглядов, каждый своим путем, кто раньше, а кто позже, но органично и закономерно, сближались с революционным народом»¹⁷.

Сама жизнь способствовала творческому росту и эстетической переориентации футуристов. Но процесс этот был очень сложным и небезболезненным.

Известна фраза М. Горького о том, что «русского футуризма нет», а есть только отдельные талантливые поэты. Думается, она не совсем точна, ибо футуристическое движение, как одна из форм поэтического авангарда, характеризовало русскую литературу на определенном этапе ее развития, выдвинув немало талантливых поэтов. Примерно то же можно сказать и о грузинских писателях, о всей той литературной обстановке, которая наблюдалась в то время в Грузии.

Переехав в Тбилиси в 1916 году, И. Терентьев сразу же окунулся в бурлящую литературную жизнь. Здесь функционировали многочисленные художественные объединения и группировки, печатались различного рода газеты и журналы. Тбилиси в то время посещали многие русские писатели, часть ко-

¹⁷ «История грузинской советской литературы», М., 1977, с. 8.

торых надолго связала свою судьбу с этим удивительным городом.

Почти одновременно с И. Терентьевым в столицу Грузии приехал С. Городецкий, который возглавил литературный отдел газеты «Кавказское слово». В 1917 году он издал первый номер журнала «Свободная песня», в котором опубликовал произведения солдатских поэтов, в том числе такого талантливого самородка, как Иван Федорычев.

В 1917 году в Тбилиси приезжали К. Бальмонт, выступивший с докладом, посвященным Шота Руставели, и собственным переводом «Витязя в тигровой шкуре», а также И. Северянин, В. Каменский, Е. Чириков, М. Шагинян и др.

26 мая 1918 года произошло важнейшее историческое событие — официально было провозглашено создание Грузинской демократической республики. Грузия вновь обрела свою национальную государственность, утраченную более столетия назад. В 1918 году Тбилиси бурлил. То был взлет культурной жизни — поиски, надежды, свершения.

В условиях Грузинской демократической республики чрезвычайно оживилась литературная деятельность русских писателей. В 1919 году С. Городецкий выпустил первый номер журнала «Райский орленок». Одновременно в 1918—1919 гг. он редактировал журнал «Агс», издаваемый А. Антоновской, который сыграл большую роль в популяризации образцов грузинской поэзии.

На страницах журнала публиковались переводы произведений Н. Бараташвили, Т. Табидзе, П. Яшвили, В. Гаприндашвили и др.

При журнале «Агс» функционировали как возглавляемый С. Городецким «Цех поэтов», участники которого издали в 1919 году альманах «Акмэ», так и «Артистериум» с различными секциями, на которых читались лекции и устраивались художественные выставки. На одной из таких выставок, открывшейся 15 апреля 1918 года, были представлены работы московских футуристов (Н. Гончаровой, М. Ларионова, К. Малевича, О. Розановой, В. Барта, Д. Бурлюка, А. Грищенко, И. Клюна, Н. Кульбина, В. Татлина, П. Филонова, А. Шевченко), а также «тбилисцев» — А. Крученых, И. Зданевича, И. Терентьева и Л. Гудиашвили. Говоря об этой выставке, Ю. Деген отмечал: «В прошлом году, в Тифлисе, некоторые произведения И. Терентьева были выставлены на «Выставке московских футуристов», состоявшейся в помещении редак-

ции ежемесячника «Агс». Большинство его произведений хранятся в Москве в частных собраниях В. Ф. Ходасевича, И. Гнесиковой, у художника А. А. Рыбикова и др. В Тифлисе в собраниях А. И. Канчели, у С. В. и В. В. Панфиловых, у Е. К. Кранц, Е. К. Лазаревой, у Бориса Корнеева и мн. других»¹⁸.

На «Выставке московских футуристов» были представлены работы И. Терентьева «Красота со взломом», «Портрет Княжин Р.», «Ожирение роз», «Автопортрет», «Портрет госпожи Н.» и др. Вообще же в Тбилиси он создал немало интересных живописных работ»¹⁹.

Как видим, И. Терентьев не был чужд группировавшимся вокруг журнала «Агс» поэтам и художникам и, надо полагать, бывая и на их вечерах. Особый резонанс в литературной жизни Тбилиси вызвал один из таких вечеров, посвященный современной грузинской поэзии, который состоялся 6 июня 1918 года. На этом вечере Т. Табидзе, П. Яшвили, А. Арсенишвили и другие выступили с докладами, посвященными литературному кредо голубороговцев, прочитали свои стихотворения на грузинском языке и в русских переводах.

Но, конечно же, особенно сблизился И. Терентьев с группой русских футуристов, которые играли немаловажную роль в литературной жизни тогдашнего Тбилиси. Они входили в «Синдикат футуристов», организованный приехавшим в столицу Грузии А. Крученых, а также И. Зданевичем, Н. Чернявским и Кара-Дарвишем. Руководителей этого синдиката и изобразил И. Терентьев в «Автопортрете с И. М. Зданевичем и А. Е. Крученых», созданном в 1919 году в Тбилиси.

Выступления футуристов привлекали большое количество публики и вызывали шумные споры, особенно заумный язык, отцом которого был А. Крученых. Кредо футуристов

¹⁸ Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 432.

¹⁹ В упомянутом Собрании сочинений И. Терентьева опубликованы репродукции некоторых работ, созданных им в Тбилиси («Портрет жены Наталии» (1917), «Автопортрет с дочерью Татьяной на руках» (1916), «Автопортрет» (1917), «Автопортрет» (1920), «Автопортрет с братом Владимиром» (ок. 1919—1920), «Автопортрет» (ок. 1917—1921), «Автопортрет с женой Наталией» (1921), «Автопортрет с И. М. Зданевичем и А. Е. Крученых» (1919), «Портрет неизвестного тифлисского художника» (1921), «Портрет С. Г. Мельниковой» (1919), «Портрет художницы В. В. Валишевской» (1920) и др.).

заумников И. Зданевич выразил в следующих словах: «Футуризм - заумный ставит задачей воплощение в слове таких сторон переживаний, которые не могли быть никак воплощены нашими предшественниками, пока поэзия имела дело со словом, привязанным к смыслу». «В обсуждениях докладов и стихов футуристов, — пишет Т. Никольская, — часто принимали участие грузинские поэты из группы «Голубые роги», подвергавшие сомнению правомерность и общезначимость заумного языка, дающего право на слишком субъективное толкование мыслей автора. Отношение С. Городецкого к футуризму было в ту пору доброжелательно - покровительственным. В статье, опубликованной в «Кавказском слове» (№ 122 от 4 июня 1917 г.), он в целом положительно отзывается о книге А. Крученых «Учитесь худоги» и приветствует футуризм. В рецензии на вечер футуристов в той же газете (№ 263 от 24 ноября 1917 г.) он ругает доклад петроградского поэта Ю. Дегена «Что такое русский футуризм» за поверхностность, а поэму И. Зданевича «Янко-круль албанский» считает забавной. В то же время он был против включения его фамилии в афишу о выступлении «Синдиката футуристов» в ресторане «Имеди», протестуя против самой идеи выступления «перед жующей публикой», что не помешало ему, впрочем, устроить несколько позднее выступление своего «Цеха» в литературно-артистическом кабаре «Ладья аргонавтов»²⁰.

С ноября 1917 года русские и грузинские поэты собирались в подвальном помещении, где Ю. Деген и С. Корона основали студию поэтов-футуристов «Фантастический кабачок». С декабря 1919 года, по инициативе поэтов-голубороговцев, здесь было открыто знаменитое литературное кафе «Химериони»²¹, стены которого были расписаны такими художниками, как Л. Гудиашвили, Д. Какабадзе, К. Зданевич, С. Судейкин, С. Валишевский, Бажбеук-Меликов, скульптором Я. Николадзе, а также А. Петраковским, С. Скрипицыным, И. Зданевичем, Ю. Дегеном. Здесь устраивались литературные вечера и встречи, на которых поэты читали свои новые стихи, выступали артисты. С чтением своих произведений в «Химериони» выступали К. Бальмонт, С. Есенин, С. Городецкий и др.

²⁰ Никольская Татьяна. «Фантастический кабачок», «Литературная Грузия», 1980, № 11, с. 209.

²¹ Ныне часть нижнего фойе Грузинского академического драматического театра им. Ш. Руставели.

На первых порах заправилами «Фантастического кабачка» являлись футуристы, которые в феврале 1918 года открыли «футуристический университет» — «Футурвсееучбицу» — возглавляемый И. Зданевичем и А. Крученых.

Летом 1918 года «Цех поэтов» С. Городецкого распался. Из него вышла группа молодых поэтов, которая во главе с Ю. Дегеном образовала новое художественное объединение «Кольчуга» со своим «Цехом поэтов». Как писал А. Крученых, «в новом цехе открылась полная свобода всяким поэтическим исканиям и потому дружные заседания его... проходили оживленно, разнообразно и интересно». Заседания эти проходили по средам в «Фантастическом кабачке». В них принимали участие и грузинские поэты. Вот, как описала одно из заседаний Н. Васильева:

Когда ж кончались цеха сроки,
В наш Фантастичный кабачок
Являлись «Голубые роги»,
Толпились шумно на пороге,
Бросая символов намек.
Блестяще красочный Паоло
Пел про лягушку и абсент,
Табидзе, взор силовивши долу,
Отстаивал французов школу,
Пленительный явив акцент.

«Кольчуга», в которую входил и И. Терентьев, издавала два журнала — «Феникс» (редактор Ю. Деген) и «Куранты» (редактор Б. Корнеев), которые сыграли немалую роль в популяризации грузинской литературы и искусства того времени. Так например, второй номер «Феникса» за 1918 год был посвящен Л. Гуднашвили, а во втором номере «Курантов» (1919) была опубликована статья Т. Табидзе «Голубые Роги» и напечатаны портреты Т. Табидзе и В. Гаприндашвили, выполненные П. Яшвили. Журналы выпустили отдельными изданиями стихи и лекции, прочитанные в «Фантастическом кабачке» И. Зданевичем, А. Крученых, И. Терентьевым и др. Большой интерес вызвал также сборник, посвященный актрисе С. Г. Мельниковой, в котором были опубликованы на грузинском языке стихи Т. Табидзе, П. Яшвили и др., на армянском — стихи Кара-Дарвиша, на русском — Н. Васильевой, Т. Вечерки, В. Катаяна, А. Крученых, С. Корона, Г. Шайкевича, Н. Чернявского, драма И. Зданевича «Орел напрокат», рису-

ки Л. Гудиашвили, Бажбеук-Меликова, К. Зданевича, И. Терентьева и др.

Следует отметить, что на первых порах принципы футуристов находили поддержку и в литературной группе грузинских символистов «Голубые роги». В одном из своих манифестов голубороговцы прямо заявили: «На протяжении этих четырех лет новая школа, школа «голубороговцев», уже успела выявить свой творческий путь: он давно клонится к футуризму»²². Еще раньше, в 1919 году, редактор журнала голубороговцев «Меоцнэбе ниямороби» («Мечтающие газели») В. Гаприндашвили приветствовал одного из столпов русского футуризма — А. Крученых. В дальнейшем пути футуристов и голубороговцев разойдутся, а их отношения примут антагонистический характер.

«Голубые роги», как и символизм вообще, — писал Г. Асатиани, — представляли собой наиболее яркое, наиболее резкое проявление декаданса в грузинской поэзии XX века.

Как известно, декаданс обозначает упадок, нисхождение, отклонение книзу. Так переводится это слово на русский язык. Но упадок являлся лишь внешним итогом, результатом того сложного психологического процесса, который претерпевала в тот период европейская литература. Причину же и суть этого процесса составляли усталость, отчаяние, потеря ощущения перспективы. Декадентская литература в Грузии была выражением того рокового чувства усталости, право на которое грузины — безразлично будь то поэт, воин или земледелец — никогда не имели»²³.

Эти-то поэты и собирались в «Фантастическом кабачке», который просуществовал до середины 1919 года, когда многие русские писатели уехали из Тбилиси. Некоторое время спустя, как уже отмечалось, в его помещении было открыто знаменитое литературное кафе голубороговцев «Химериони».

Каково же было участие И. Терентьева во всех этих литературных событиях? Как сообщал журнал «Arg» (1918, № 2—3), 3 апреля 1919 года А. Крученых прочитал в «Фантастическом кабачке» лекцию «Неизданные произведения футуристов» (Шершеневич, Розанов, Маяковский, Терентьев). Это было первое печатное упоминание имени И. Терентьева

²² «Меоцнэбе ниямороби», 1920, № 1 (на груз. яз.).

²³ Асатиани Г. «Литературно-критические статьи», М., 1985, с. 155—156.

в контексте тбилисской литературной жизни, хотя он сам в статье «Леф Закавказья», как и Г. Евангулов в статье «Русская поэзия в Тифлисе (1917—1920)» относят начало тбилисского периода деятельности И. Терентьева к 1917 году, т. е. к тому времени, когда открылся «Фантастический кабачок». По всей вероятности, так это и было. «В октябре 1916 года в Петербурге, но с думой о Тифлисе, молодые Илья Зданевич, Мишель Ле-Дантью, Лапшин, Вера Ермолаева и Ольга Ляшкова задумали основать «Университет 41-го градуса», — пишет Г. Буачидзе. — Создателями этого необычного сообщества в ноябре 1917 года, уже в Тифлисе, станут братья Илья и Кирилл Зданевичи, Алексей Крученых и Игорь Терентьев. Новая поэтическая школа ставит перед собой задачу сочинения произведений на изобретенном ею языке зауми. Записанный таким образом текст поддается различным осмыслениям, отталкиваясь от читательской интуиции. Как никогда прежде, читатель становится сотворцом воспринимаемого им текста. Разумеется, необычен и характер занятий в университете, существование которого разобьется о время, включенное в водоворот бурных общественных событий и перемалывающее общественные судьбы. Шумные собрания последователей и противников университета запомнили стены «Фантастического кабачка», в котором читались и оживленно дискутировались лекции о футуризме. На протяжении 1918 и 1919 годов собирались также в тифлисской консерватории, в ресторане «Имеди»²⁴.

Как видим, И. Терентьев был активным участником «Университета 41-го градуса», который затем был трансформирован в «Футурвсечуиц».

И. Терентьев вошел в группу футуристов-заумников весной 1918 года, сразу же заняв в ней особое место. «Крученых, — пишет Т. Никольская, — приехал в Грузию со сложившейся литературной репутацией отца заумного футуризма, чья подпись стояла еще под первым футуристическим манифестом «Пощечина общественному вкусу». Менее маститый И. Зданевич имел за плечами книги «Наталья Гончарова», «Михаил Ларионов» (1913) и пьесу «Янко-круль албанский». Лекции И. Зданевича о футуризме и его выступления на диспутах широко освещались в дореволюционной прессе.

²⁴ Буачидзе Гастон, «Через 41°», «Литературная Грузия», 1989, № 7, с. 169.

Терентьев же начал свою литературную деятельность только в Тифлисе. Однако он не задержался на ученической скамье, а сразу сделался не только полноправным членом, но и теоретиком «41°»²⁵.

Сам И. Зданевич называл его «самым блестящим и энергичным теоретиком тифлисского университета «Футурвсучбища» и писал, что «Терентьев подытожил работы своих предшественников по теории поэтического языка», сформулирован закон поэзии, по которому «в повседневном языке центр тяжести слов заключен в смысле, а в поэтическом — в звуках»²⁶.

С мая 1918 года начинаются публичные доклады и выступления И. Терентьева. Уже 4 мая он выступает в «Фантастическом кабачке» с докладом «А. Крученых — грандиозарь» (доклад вскоре был издан отдельной книгой). 27 мая И. Терентьев принял участие в состоявшемся в Тбилисской консерватории диспуте на тему «О театре и заумной поэзии». По словам критика И. Астрова, И. Терентьев выступил с докладом, «оригинально вскрывающим сюжет в драмах Ильи Зданевича и объясняющим публике эстетическое оправдание заумной поэзии»²⁷. На вечере стихов В. Маяковского, состоявшемся в июле 1918 года в «Фантастическом кабачке», И. Терентьев выступил с докладом о поэте, дав ему высокую оценку. В августе 1918 года И. Терентьев прочитал в кабачке доклад «Маршрут шаризны. Закон случайности в искусстве»²⁸, а в июле 1919 года — доклад «Табак». После закрытия «Фантастического кабачка» И. Терентьев в соавторстве с А. Крученых написал работу о группе «41°» «Дуэт трех идиотов», которую зачитал летом 1919 года в «Цехе поэтов». 18 января 1919 года в газете «Тифлисский листок» была опубликована статья И. Терентьева «А. Блок. Скифы. Поэма». В том же году в Тбилиси увидели свет два сборника стихотворений И. Терентьева «Факт» и «Херувимы свистят», а также три теоретические работы «17 ерундовых орудий», «Рекорд нежности. Житие Ильи Зданевича» и «Миллиорк. Стихи Алексея Крученых. Примечания Терентьева». В 1920 году был опубли-

²⁵ Никольская Т. «Игорь Терентьев — поэт и теоретик «Компании 41°», В кн.: Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 22.

²⁶ Там же, с. 29.

²⁷ «Игла», 1918, № 14, с. 9.

²⁸ Опубликован в жур. «Феникс», 1919, № 1.

кован «Трактат о сплошном неприличии». Произведения И. Терентьева публиковались также в журналах «Куранты» и «Феникс», в газете «41°», в сборнике «Софии Георгиевне Мельниковой».

В это время математик, экономист и поэт, создававший «механические стихи» и анализировавший русскую классическую литературу с фрейдистской точки зрения Г. А. Харазов создал в Тбилиси «Академию стиха», членом которой стал И. Терентьев. Здесь осенью 1920 года он прочитал доклады «Блажь небесная», «Пять заграниц и Падэкатр» и др. И. Терентьев выступал с чтением своих стихов в «Цехе поэтов», его картины выставлялись на вернисажах художников «Малый круг». После установления Советской власти в Грузии И. Терентьев вступил в «Союз русских писателей в Грузии», во главе которого стоял С. Рафалович. В этот период он также совместно с К. Зданевичем оформлял плакаты для Грузкавроста (Грузинского Кавказского Российского телеграфного агентства) и вел театральную работу в частях Красной Армии. Одновременно он выступал с публичными лекциями, тексты которых не сохранились.

Много лет спустя, когда И. Терентьев работал на строительстве канала Москва—Волга, А. Крученых обратился к нему с поэтическим посланием, в котором удивительно точно воссоздал атмосферу тбилисского периода жизни и творчества своего друга:

Игорь помнишь
когда-то
мы вместе
озоровали в Тифлисе
кроили какально-анальный словарчик
из Гумилева и Ахматовой
молитвенник для дам
предсказывали литкончину
блочистов и юродегенератов²⁹—
кузминских мальчиков и юркунов³⁰
свирепые корнешупы —
отрывали футур — всеучбище

²⁹ А. Крученых намекает на Юрия Дегена и его литературное окружение.

³⁰ Ю. Деген считал себя учеником М. А. Кузмина и дружил с Ю. И. Юркуном.

в Фонтачке³¹
(где впервые открыли тебя и Чачикова³²).
Изумительный
ласково-цепкий танцор
ты рядился тогда негром
косыми скулами
обольщая балерин
самый остроумный человек в Тифлисе
ты читал доклады
о «грандиозаре»
«ерундовых орудиях»
«маршруте шаризны»
и о стрельбе в обратную сторону³³
чтоб победить летаргию привычки.
Лишь аннулировав все богатства
мы стали богатеть
в нашем разговоре
мы начинали не ниже
чем с 41 градуса...³⁴.

Это, пожалуй, единственное сохранившееся свидетельство современника, за поэтической выразительностью и краткостью которого скрывается поистине огромный труд теоретика и практика футуризма.

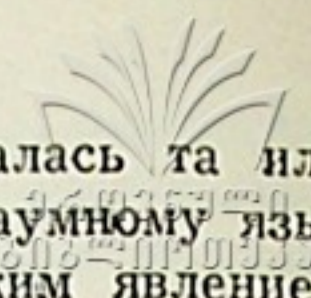
Говоря о теоретических выступлениях и работах И. Терентьева, следует прежде всего отметить, что он придавал особое значение осмыслению природы заумного языка или зауми—понятия, выдвинутого теоретиками русского футуризма 1920-х годов. Термин этот был введен В. Хлебниковым, который пытался обнаружить общие законы прямой взаимосвязи звучания и смысла и, основываясь на них, создать поэтический язык, над которым не тяготело бы «бытовое значение слова» (т. е. создать слово вне изначально присущей ему номинативной и коммуникативной функций). Футуристы использовали заумь для «изображения» звукоподражания, видели в ней искусственный язык, состоящий из произвольных словосочетаний, но передающих индивидуальное настроение

³¹ Имеется в виду «Фантастический кабачок».

³² А. М. Чачиков — поэт и переводчик.

³³ «О стрельбе в обратную сторону» — цитата из «Маршрута шаризны» И. Терентьева.

³⁴ Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 467.



посредством подбора звуков, которым присваивалась та или иная эмоциональная окраска. Они приписывали заумному языку эстетическое значение, считали его новаторским явлением в поэзии, полагали, что из зауми возникнет «вселенский» язык. «Заумный язык, — писал В. Хлебников, — есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей»³⁵.

Несмотря на всю идеалистичность и утопичность подобного рода суждений, поиски новых выразительных средств в области словообразований, сохраняющих корневую основу слова, имели не только реальное языковое содержание, но и большое значение. Словообразования этого рода в дальнейшем широко применялись в поэтической практике В. Маяковского, С. Кирсанова, Н. Асеева и др.

И. Терентьев в своих теоретических суждениях всецело разделял и даже углубил мысль Л. Якубинского о разделении языка на практический (средство общения) и поэтический³⁶. В то время немало говорилось об этом. В частности, В. Маяковский — футурист утверждал, что «слово — самоцель», что «содержание безразлично», что «для писателя нет цели вне определенных законов слова». В. Шкловский, рассматривая японские танки, писал, что «слова подбираются в стихотворении не по смыслу и не по ритму, а по звуку»³⁷. В статье же «Искусство как прием» В. Шкловский говорил о противоположности «законов поэтического языка законам языка практического»³⁸. На то, что в поэзии 20-х годов звуковой феномен превалировал над смысловым, указывали Б. Томашевский³⁹, Е. Поливанов⁴⁰ и др. Таким образом, теоретические суждения И. Терентьева о разделении языка на практический и поэтический имели в те годы под собой почву. И. Те-

³⁵ Хлебников В. Собр. сочинений, т. 5, М., 1933, с. 236.

³⁶ См. Якубинский Л. «О звуках стихотворного языка». В кн.: «Сборник по теории поэтического языка», т. I, Петроград, 1916.

³⁷ Шкловский В. «О поэзии заумного языка». Там же, с. 10.

³⁸ Сб. «Поэтика», Петроград, 1919, с. 104.

³⁹ Томашевский Б. «Русское стихосложение. Метрика», Петроград, 1923.

⁴⁰ Поливанов Е. «Общий фонетический принцип всякой поэтической техники», «Вопросы языкознания», 1963, № 1.



рентьев не считал заумь собственно языком. «Разумеется, писал он, — заумный язык — не «язык» и «языком» никогда не будет, заумь есть материал для упражнений производственных органов речи, материал для усвоения конструктивных законов звука, заумь есть решающее условие для создания языкового интернационализма!»⁴¹ По мнению И. Терентьева, «заумь участвует во всех подлинно значительных произведениях последнего времени. Заумную школу прошли Артем Веселый, Сельвинский, Кирсанов и др.»⁴².

«Из закона поэтического языка, — пишет Т. Никольская. — вытекают и пропагандировавшиеся Терентьевым законы случайности (наобумности) и сдвигологии, которые Терентьев прослеживает, в частности, на примерах из Пушкина и Блока. Так, разбирая поэму Блока «Скифы», он выделяет строки «Миллионы вас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы» и «Она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью», в которых усматривает закон случайности, состоящей в том, «что слова теряют свой облик: слово «тьма», вращаясь, превращается в «ведьмы» или «ведьма», а слово «глядит» кажется похожим на «летит».

Терентьев призывает поэтов «думать ухом» и не бояться возникающих от этого противоречий, которые в искусстве «имеют почетное место», поскольку «в поэзии... слово означает то, что оно звучит». Исходя из закона поэтического языка, постулирующего случайность, Терентьев приходит к выводу, что «всякий поэт есть поэт заумный». Закон поэтической речи связан у Терентьева и со сферой подсознательного, на что указал И. Зданевич, сопоставивший ассоциативное нанизывание похожих по звучанию слов с механизмом сновидений»⁴³.

Исключительно важное значение придавал И. Терентьев «упражнению голоса», т. е. установке на произнесение вслух. «Наша обязанность показать, — писал он, — что футуризма нет... вне зауми! А самой зауми нет в том, где ее ищут и как-будто находят! Эмоционально — никто не может быть врагом заумников! Кто против музыки, против танца?! Лишь бы это было «красиво» или по крайней мере забавно! Кто слы-

⁴¹ Терентьев И. «Кто леф, кто праф», «Красный студент», 1924, № 1.

⁴² Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 291.

⁴³ Никольская Т. «Игорь Терентьев — поэт и теоретик «Компании 41°». В кн.: Терентьев Игорь. Собр. соч., с. 30.

шал наши стихи (читать их самостоятельно никто не умеет по причине общей звуковой безграмотности), тот знает, что это во всяком случае — не скучно! Тот знает, что умение владеть буквой, тембром и ритмом человеческой речи — на стороне таких мастеров заумной поэзии, как Илья Зданевич, Алексей Крученых, Николай Чернявский и многих др. Тот знает, что на эстраде никто из поэтов или чтецов конкурировать с ним не может! Причина вовсе не в «гениальности», а в технике! И наряду с этим, когда выходит на эстраду «поэт», кто не содрогнется от предчувствия скуки, более нестерпимой, чем укус пчелы! Увы! — и «футуристы» тоже кусаются, когда человеческая лапа лезет в их улей за медом!»⁴⁴...

Очень важную роль придавал И. Терентьев «закону случайности», проявлениями которого считает опечатки, ошибки, описки, оговорки, замену контрастирующего эпитета, характерного для ранней стадии кубофутуризма, эпитетом «ни с чем не сообразным». Закон случайности он связывает с заумью, поскольку при заумном письме, понимаемом Терентьевым как автоматическое, «образы и слова выскакивают неожиданно даже для самого автора». На принципе автоматического письма основан совет «писать неделю подряд и не перечитывать... когда захочешь иметь свою лучшую книгу». Терентьев отождествляет мастерство с «умением ошибаться», указывая, однако, что «не так легко обмануть самого себя и ускорить случай ошибки, так как только механические (а не идеологические) способы во власти художника»⁴⁵.

Как и А. Крученых, И. Терентьев относил алогизмы, свойственные наобумным стихам, к области сдвига. Причем именно с фонетическим сдвигом связывал он эмоциональное значение звуков. «Поэтический словарь (внешний вид которого может быть тот же, что у практического словаря, изданного академией наук), — писал И. Терентьев, — есть работа творческая, т. е. малоубедительная для других»⁴⁶.

Особо следует отметить, что воззрения И. Терентьева расходились с платформой раннего футуризма, отрицавшей всякую связь с традицией. В отличие от этой платформы И. Те-

⁴⁴ Терентьев И. «Кто леф, кто праф». «Красный студент», 1924, № 1 (Подчеркнуто автором).

⁴⁵ Никольская Т. «Игорь Терентьев — поэт и теоретик «Компании 41°». В кн.: Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 30.

⁴⁶ Там же, с. 184.

ренъев рассматривал современный ему поэтический авангард в историческом аспекте, пытался найти у поэтов-предшественников зачатки футуризма.

Вопрос о национальных корнях футуризма не был исключен из теоретических суждений И. Терентьева, но он решался им в идеалистическом аспекте. И. Терентьев пытался гальванизировать классику в новых общественных условиях, перебросить мост от настоящего к прошлому в нужном ему плане. «Если вслушаться в слова: гений, снег, нега, странность, постоянство, приволье, лень, вдохновение..., слова, которыми восклицаются, желая характеризовать «настроение» «Евгенина», — писал он, — станет несомненно, что они вызваны звуковым гипнозом: Евгений Онегин, Татьяна, Ольга, Ленский!.. Предчувствуя значение звука в поэзии, многие любители потрудились над составлением словаря рифм Пушкина, Тютчева и друг[их]. Они не знали, что может быть открыт словарь не только рифмующихся, но всех вообще слов, которые встречаются у поэта:

(«Евг[ений] Онег[ин], гл. I, стр. XIX)

«все те же-ль вы, чные девы⁴⁷,
сменив, не заменили вас»...

А дальше поэт, слуховое воображение которого поражено словом «львы», рыкает и ворчит: «узрюли русской Терпсихоры»..., «устремив разочарованный лорнет»... «безмолвно буду я зевать»...

А в то время, как представляется этот «светский лев», вся XX стр. изображает зверинец, где балерина Истомина, после слов «партер ...кипит», — неизбежно превращена в пантеру:

«И вдруг прыжок, и вдруг летит...

И быстрой ножкой ножку бьет»...

Мало того: отдельные буквы. — не только слова. — говорят о поэте более откровенно, чем всякая биография... Буква «Б» у Пушкина:

«Я был от балов без ума»!

Первая глава переполнена словом «блистать»: обожатель богини, балет, бокалов, бобровый, боливар, хлебник, в бумажном колпаке. — весь «бум» бального Петербурга...

⁴⁷ Неточная цитата. У Пушкина: «другие девы», — И. Б.

Я не буду настаивать на том, что «узрюли» означает — «ноздри льва» — может быть это «глазища»..., но произносительный пафос этого слова, одинаковый почти у всех чтецов, доказывает основную правильность догадки: торжественный зверь смотрит, раздувая ноздри...

Зная закон поэтического языка, никто не усомнится, что всякий поэт есть поэт «заумный».

Пользуясь обычными словами, Пушкин превращает «ветошь» в «тошноту», «партер» в «пантеру», создает заумные слова вроде «узрюли», «мокужон» (Евг. Онег., гл. I, стр. XII строч. I: «как рано мог уж он тревожить»...)...И если бы этого не делал, то не только для футуристов, но и вообще не существовал!..»⁴⁸.

Несмотря на присущую футуристам категоричность суждений, нельзя не заметить, что И. Терентьев не хотел быть «Иваном, не помнящим родства», а пытался найти в классике корни эстетического авангарда.

И в этом отношении он, безусловно, сближался с грузинскими футуристами, которые также пытались восстановить в поэзии органическую связь с литературой прошлого столетия. В этой установке сказалась и их полемическая антисимволистская направленность. «Я пытался восстановить в своих стихах стихотворную культуру Н. Бараташвили и И. Чавчавадзе, — писал С. Чиковани, — Эти мои опыты, однако, не характеризовались созданием стилизованных стихотворений, хотя путь моих поэтических исканий и был чисто формального порядка»⁴⁹.

Характеризуя И. Терентьева как теоретика заумной поэзии, Т. Никольская заключает: «В критических работах Терентьева парадоксализм суждений, ирония сочетаются с острой наблюдательностью, тонким анализом. В книгах, посвященных своим собратьям по «41°», Терентьев следует традиции, заложенной Крученых, еще в 1913 году выпустившим брошюру «Владимир Маяковский». Наиболее серьезный тон присущ первой книге Терентьева «Крученых — грандиозарь», проникнутой пиететом к мэтру. В «Рекорде нежности» панегирик сменяется добродушным юмором, общие теоретические рассуждения уступают место конкретному разбору текстов. Стиль Терентьева становится афористичным, качество, еще

⁴⁸ Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 183—185.

⁴⁹ Чиковани Симон, Стихи, М., 1935, с. 8.



более развитое в «17 ерундовых орудиях», — книге, слошп построенной на парадоксах. Во всех этих книгах, рассчитанных на узкий круг читателей, написанных «для своих», почти отсутствует элемент эпатажа, играющий первостепенную роль в последней работе Терентьева — «Трактате о сплошном неприличии», напоминающем по резкости тона первые футуристические манифесты. «Трактат» до предела насыщен литературно-историческими аллюзиями, словесной игрой, построенной на каламбурах. Терентьев широко использует в этом произведении приемы своей поэтической техники, соединяя в одном предложении похожие звучащие слова, синтетические и фонетические сдвиги. Особенно виртуозно он применяет различные шрифты, которыми, в частности, пользуется и для усиления эпатажного элемента, выделяя части слов, имеющие «непристойный» смысл»⁵⁰.

Таковы были те теоретические работы, которые И. Терентьев создал и в основном опубликовал в Тбилиси. Находясь в русле творческих исканий того времени, в частности, авангардистского экспериментирования, они должны были способствовать выработке новых форм стиха, словотворчеству, полифонизации и идеологизации художественно - выразительных средств и т. п. И. Терентьев пытался заменить «пассивное эстетическое любование» активным социальным действием, стараясь осуществить коммуникацию с читателями путем воздействия на их подсознательные импульсы.

Сам И. Терентьев был убежден, что именно на почве тбилисского «41°» вырос Леф. «Теперь, когда во всей России возникают футячейки, образуя левый фронт искусства, — писал он, — теперь уже не в том вопрос — футуризм или что-либо другое, — вопрос только внутри самого футуризма, в его внутренней самоочистке... Леф в своей **Мозгве** подвел итоги давно уже сделанного в провинции [т. е. в Тбилиси], того, что теперь пошло обратно туда же в провинцию, чтобы второй обновленной волной опять подкатиться к центрам»⁵¹.

Теоретические суждения И. Терентьева, конечно же, вызывают большой интерес с точки зрения более глубокого осмысления литературной жизни 10-х — 20-х годов, эстетиче-

⁵⁰ Никольская Т. «Игорь Терентьев — поэт и теоретик «Компании 41°». В кн.: Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 32.

⁵¹ Терентьев И. «Кто леф, кто праф», «Красный студент», 1924, № 1.

ских запросов эпохи, о которой мы еще не все до конца знаем.

Однако любопытно, что Терентьев-теоретик нередко расходился с Терентьевым-практиком, тяготевшим и к традициям русской поэзии. И это отметил еще С. Городецкий, который писал: «Рассуждать он мастер. А выполнять свои рассуждения выполняет по-старинному. Некоторая эксцентричность образов, некоторая неряшливость формы — вот и все, что отличает его стихи от стихов нефутуристов»⁵².

Действительно, многие стихотворения И. Терентьева, изданные в Тбилиси, характеризуются не только звуковой игрой, но и носят явный отпечаток традиционности. Разумеется, и его поэзия не обошлась без «голового экспериментаторства» и любования «самоцельным звуковым образом», не всегда удавалось «сочетать с картиной звук». Эксцентричность метафор и сравнений затрудняла восприятие стихов. Во многих произведениях, созданных в Тбилиси, И. Терентьев смело экспериментировал в русле футуризма: прибегал к «словотворчеству» и «словоновшеству», вплоть до своего «индивидуального диалекта», т. е. зауми, экспериментировал над стиховой графикой (визуальная поэзия, автографическая книга), предельно расширял диапазон литературного языка от «самовитого» слова «вне быта и жизненных польз» (как этого требовал В. Хлебников) до слова прямого социального действия, «нужного для жизни» (В. Маяковский). Стихотворения И. Терентьева характеризовались сложными семантическими и композиционными «сдвигами», резкими контрастами лиризма и брутальности, фантастики и жизненной злободневности, что вело к протескному смешению стилей и жанров, которое, однако, приобрело статус нового конструктивно-стилистического единства, свойственного русскому футуризму.

В то же время во многих стихах И. Терентьева заключалась живая мысль, неподдельное чувство, выраженные зачастую с нарочитой полемической необычностью оркестровки стиха.

Конечно, путь И. Терентьева в литературе был противоречив и сложен. Он не всегда прямолинейно и бескомпромиссно придерживался декадентских позиций субъективной литературной школы, одновременно тяготея в своей поэзии к тра-

⁵² Городецкий С. «Деген, Терентьев и Крученых», «Кавказское слово», 1918, № 110.

диционному искусству. Именно эта внутренняя противоречивость явилась стимулом определенной творческой эволюции поэта. «Тематика стихов Терентьева, вошедших в книги «Ожирение роз» и «Херувимы свистят», — пишет Т. Никольская, — футуризм и футуристы, отклики на события международной жизни, урбанистический пейзаж. Одной из центральных у Терентьева, так же как и у Крученых в тифлисский период, проходит тема голода и связанная с ней тема еды... Самый большой сборник стихов Терентьева «Факт»... состоит из ...стихотворений, часть из которых уже печаталась в цикле «Готово» и в газете «41°». В сборник вошли стихи, написанные в различных манерах, как на нормативном, так и на заумном языках»⁵³. Все это заметно и на тех стихах поэта, в которых непосредственно затронута грузинская тема. Вот стихотворение «Путеянство», опубликованное в сборнике «Факт» (1919):

Побудем сослучные в Тифлисе
Там столица где мы заблудились
Тяни катуху стихов по главным улицам
Поперек провинциозной немочи
Когда лягушка рождает устрицу
В печенке Леонардо-да-Винчи
Я иду по горе
Ничего не имею против голубого неба
И скоро уеду
Везде встречаются наши противоохы
На каждой станции в гостинной
Слова повернут ко мне пегий профиль...

Как видим, дело здесь не в отсутствии знаков препинания, что вообще было характерно для футуристов, а в том, что заумный язык инкрустирует нормативный, который, в свою очередь, порой настолько алогичен, что производит впечатление заумного (например, «Когда лягушка рождает устрицу// В печенке Леонардо-да-Винчи»).

Для этого стихотворения характерны абстракция, импульсивное движение, априорное мышление, долженствующие вызывать индивидуальные представления и чувства.

⁵³ Никольская Т. «Игорь Терентьев — поэт и теоретик «Компании 41°». В кн.: Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 25 и 27.

То же самое можно сказать и о стихотворении «Спич Лапшина», опубликованном в том же сборнике «Факт», которое очень характерно для ранней манеры И. Терентьева, сочетающего различные приемы (обыпрывание устойчивых словосочетаний, подбор слов по звуковой близости, разлом и насыщение слов, трансформация нормативного языка в заумь, которая была для поэта своего рода лабораторной работой по выявлению выразительных возможностей слова):

Когда в газету завернув землю
Стою около аптеки Земмеля
Юя якая
Проходит с ног до головы
Окатит меня из ока
Синицы гусеницы девственицы лиственицы
По тротуару отсыревшей ногой чиркая
Пугаю как птицы
На меня смотрите сверху вниз
А когда
Для развлечения корку жуя
Пройдя к чортовой матери
Куча живьем спадет
На крупу
Квошек
Что
Напечатал
Из кармана шопотом и не моргая
Я

А теперь посмотрите, как отличаются эти стихи от стихотворения «Тифлис»:

Под барабан шарманка пела по-грузински
Яблоками на осликах пахло солнце
В тени Давида лежал Головинский
При свете холмов из бронзы

На голубей Кура в замостьях шипела
Трамвай выбивался в Европу из Майдана
Пробегала девушка твердая как чурчхела
Наступал вечер во всех странах

Воздух темнел с быстротою облака
Ювелиры прятались в электрический запад
Яблоки на осликах
Ночью фруктовый запах

Завтра в комнате
Белые подоконники
Наши книги сонники наши
Помните

В этом стихотворении традиционные мотивы, заметные (и своеобразно, часто причудливо переложенные) в экспериментальных вещах поэта, приобретают явно угрожающий для футуризма характер. Стихотворение как бы подытоживает творческие поиски предыдущего периода и пробивает скорлупу футуризма.

Как видим, наряду с футуристическими стихами у И. Терентьева встречаются и стихотворения с версификаторской формой, хотя и здесь эта форма оживляется авангардистской эстетикой. Так например, в стихотворении «Бесконечный тост в честь Софии Георгиевны» мы встречаем слова, образованные путем контоминации грузинских и русских слов («шампурским», образованное от «шампур» + «шампанское»).

Следует отметить, что И. Терентьев оказал определенное воздействие на творчество некоторых поэтов, живших и творивших в то время в Тбилиси, в том числе и на такого признанного мэтра футуризма, как А. Крученых. Среди тех поэтов, которые испытали его непосредственное влияние был и Юрий (Георгий) Марр (сын академика Николая (Нико) Марра), посвятивший И. Терентьеву стихотворение «Терентилль». Т. Никольская называет его «малоизвестным тифлисским замником». Это не совсем так. Ю. Н. Марр (1893—1935) — личность широко известная. Родившись в Грузии, он после окончания факультета восточных языков Петербургского университета некоторое время (1919—1921) работал в библиотеке Тбилисского университета. Именно в это время он увлекся футуризмом, создав ряд любопытных произведений. В дальнейшем он работал в Петрограде, находился в командировке в Иране (1925—1927), а в 1929 году вернулся в Тбилиси, где читал лекции в Тбилисском университете. Скончался он в Абастумани, достигнув известности как замечательный иранист, великолепный знаток классической и современной

персидской литературы, языка, фольклора и этнографии. / Его поэтические опыты еще ждут своего изучения, как и его переводческое творчество.

Хотя книги И. Терентьева и издавались малыми тиражами, они выходили и за пределы Грузии, о чем свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что его сборник «Факт» хранился в личной библиотеке В. Брюсова.

Особый интерес вызывает отношение И. Терентьева к В. Маяковскому. А. Крученых, противопоставляя И. Терентьева В. Маяковскому, которого, по его мнению, «еще надо футурнуть»⁵⁴, отдавал предпочтение первому. Голубороговцы же в своей газете «Рубикони» (1923, № 11), назвали И. Терентьева эпигоном В. Маяковского. Это было, конечно, полемическим преувеличением. И. Терентьев, как и многие другие поэты того времени, испытал определенное воздействие В. Маяковского, но подражателем его никогда не был. Он очень любил и уважал В. Маяковского, что выявилось не только в его докладе, посвященном поэту, о чем я уже упоминал, но и в стихотворениях И. Терентьева, посвященных В. Маяковскому. Одно из них было создано в Тбилиси и называлось «...скому»:

Ради бога пишите слишком
Одинаково все будет распродано
Первый купил я вашу книжку
И прочел ее всенародно

В Тифлисе давно все футуристы
Глотают издали метафоры даже
Простой писчебумажный лист
Где великое имя нацарапано

Ангелов стаскивая с облак
Штанов нашейте из пара нам
Ваши стихи каждая вобла
Поет под гитару

По словам Т. Никольской, в этом стихотворении «душещипательная интонация иронически обрывается в последней строке: «Ваши стихи каждая вобла поет под гитару», являю-

⁵⁴ Крученых А. «Ожирение роз». Тифлис, 1918, с. 10.



щейся аллюзией на «глупую воблу воображения» Маяковского. Имя Маяковского в стихотворении не названо, а подсказано заглавием и аллюзией на поэму «Облако в штанах», название которой содержится в последней строфе:

Ангелов стаскивая с **облак**
Штанов нашейте из пара нам»⁵⁵.

Любовь к Маяковскому (хотя они, разумеется, во многом и расходились) И. Терентьев пронес через всю свою сложную жизнь. В 1937 году он создал любопытное стихотворение «Маяковский»...

Как явствует из всего, сказанного выше, И. Терентьев играл достаточно заметную роль в литературно-культурной жизни Тбилиси конца 10-х — начала 20-х годов. Поэтому естественно, что у него был здесь весьма широкий круг знакомств. Помимо уже названных писателей и деятелей искусства, И. Терентьев сблизился в Тбилиси с такой интересной и широко известной на западе творческой личностью, как Георгий Гюрджиев, сотрудничавший в то время с Жанной Матинион — супругой тбилисского художника А. Зальцмана, которая организовала в 1919 году в столице Грузии танцевальную студию, работавшую по системе Далькроза⁵⁶. В том же году на базе этой студии Г. Гюрджиев основал Институт гармонического развития человека. И. Терентьев посещал вечера студии и на один из них откликнулся рецензией, в которой, в частности, писал: «В сотрудничестве с г-ой Матинион последние месяцы работал г-н Гюрджиев, по свидетельству композитора Гартмана⁵⁷ — знаток восточного танца.

Как нельзя более кстати приходится Гюрджиев к школе Далькроза.

Если европейский навык состоит в том, чтобы приспособиться к внешнему, закруглять движение на парусах инерции, — Гюрджиев дает вместо разгона — толчок воли — резкое прямое движение.

⁵⁵ Никольская Т. «Игорь Терентьев — поэт и теоретик «Компании 41°». В кн.: Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 23.

⁵⁶ Эмиль Жак-Далькроз (1865—1950) — швейцарский композитор, педагог, создатель системы музыкального ритмического воспитания.

⁵⁷ Фома Александрович Гартман (1885—1956) — русский композитор и дирижер, преподававший в тбилисской консерватории (1919—1921).



Метод Гюрджиева обогащает Далькроза ровно вдвое.

Прекрасно срепетированы массовые движения учениц, одновременно вскидывавших то руку, то ногу, идеальная бессодержательность этих движений и прямизна произвела на публику впечатление ошеломляющего отдыха ...после малокровных «босоножек»...

Один, два танца, впрочем, Гюрджиев мог бы уступить Тамаре Грузинской: имитацию бабочек и еще что-то воинственное!..»⁵⁸.

И. Терентьев был не просто рецензентом, а близким студии человеком. Он интересовался судьбой Гюрджиева и Матинион и после того, как они выехали за границу. В конце сентября 1922 года И. Терентьев писал из Тбилиси И. Зданевичу: «Напиши мне, пожалуйста, об Институте Гюрджиева подробно. Что Жанна [Матинион] и как ее здоровье. О них в Тифлисе имеются триумфальные слухи — Лондон, деньги, слава и проч[ее]»⁵⁹.

Особый интерес вызывают взаимоотношения И. Терентьева с грузинскими писателями. Как уже отмечалось, в конце 10-х — начале 20-х гг. он сблизился с голубороговцами, которым посвятил стихотворение «Дидебулиа», написанное в ноябре 1921 года:

Горы,
Жара,
Тихий Тифлис
Куры Курикулуш
Дидебулиа.
По улицам проходит Робакидзе⁶⁰
Холодный как напареули
Строгий орган Грузии.
Вкушая паюсную крозь поэзии
Трепещет Тициан Табидзе.
Так заплетается огонь.

И вот Чичико Гафриндашвили
Медведь — воспитанный Верленом

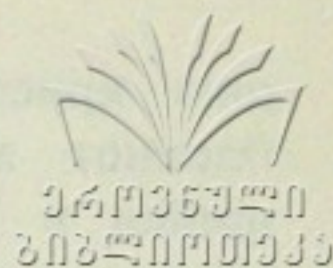
⁵⁸ «41°. Еженедельная газета», 1919, № 1.

⁵⁹ Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 396.

⁶⁰ Григола Робакидзе И. Терентьев упоминает и в письме к И. Зданевичу (1921) как общего знакомого.

Соединяет нас междоусобная любовь
И праздник.

Восшествие Паоло на престол грузинского стола
Слава стране,
Где ходит Кара-Дарвиш,
Похожий на Екатерину вторую,
Где я живу и ворую⁶¹.



Касаясь этого стихотворения, Т. Никольская отмечает, что в «функции зауми в нем выступает грузинское слово «Дидебулиа», означающее «величание», и звучащее отчасти по-грузински слово «курукулуш», ассоциирующееся также с латинским «сиггисулум». Использование звуковых комбинаций, характерных для грузинского языка, имело место и в других стихах Терентьева, например, «шушиан» («Мои похороны»), «сихимелбормхаули» («Серенький козлик»)⁶².

Стихотворение «Дидебулиа» было опубликовано в феврале 1922 года в газете голубороговцев «Фигаро», редактором которой был Н. Мицишвили. Вскоре оно было переведено на грузинский язык и напечатано в органе «Голубых рогов» газете «Барикади» (1922, № 5).

Все это, как и многие другие материалы, свидетельствует о том, что И. Терентьева одно время связывали теплые дружеские отношения с голубороговцами, и в частности с Тицианом Табидзе. Об этом свидетельствует и прекрасный реалистический портрет грузинского поэта, выполненный И. Терентьевым. Касаясь этого неизвестного ранее портрета, М. Гижимкрели пишет: «Вглядитесь в рисунок. Разве не эту мело-

⁶¹ Для того, чтобы понять, о каком «воровстве» идет речь, необходимо вспомнить следующее место из «Трактата о сплошном неприличии» И. Терентьева: «Змей искуситель, подобно клистирной трубке, свисающей с Древа Познания Добра и Зла, — он первое начало зарайской жизни и творчества в человеках. А что же такое оно, восхваляемое паравне с халвою и халдейскими мудрецами: творение, тварь, творог, твор или просто может быть — Таганрог, Туган-Барановский, Рабиндра Нат Тагор, купорос или притворство? А ближе всего стоит вор, тот самый, кто крадет! От этого и красота!» (Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 271. Выделено автором).

⁶² Никольская Т. «Игорь Терентьев — поэт и теоретик «Компании 41°». В кн.: Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 27.

дню кристальной души постарался занести в свой рабочий блокнот московский режиссер, в двадцатых годах оказавшийся в Тбилиси и, как гость Грузии, не обойденный вниманием негласного мэра города Тициана Табидзе?

Как много дум навевает нам портрет грузинского поэта, рисованный русским режиссером. Игорь Терентьев не только запечатлел зримый облик гостеприимного хозяина. Режиссер, строивший театр на звуке, уловил уникальную ноту личности»⁶³.

Однако не все было столь лучезарно и безмятежно в то бурное и скоротечное время. В 1923 году (№ 11) в газете «Рубикони» была опубликована статья, подписанная «Т. Т.» (возможно, Т. Табидзе), в которой уже уехавший из Тбилиси И. Терентьев подвергся резкой критике за свою статью «Леф Закавказья (Компания 41°)», опубликованную в московском журнале «Леф» (1923, № 2). Особое неприятие вызвали следующие слова из статьи И. Терентьева: «...Появились грузинские футуристы, сразу человек 25. Обратились ко мне, как к старожилу. Спрашивают: «Наши задачи? Кого бить? Чем ругаться? Что делать?» Ответил: «Ничего, кроме поэтического интернационала. Комбинируйте языки на заумной основе. Это будет самое нужное и самое опасное дело».

«В Грузии это невозможно, нас убьют...»

Я уехал в Баку. Но перед отъездом меня успели побить бывшие символисты, теперь просто националисты.

В своем «Манифесте» они так и объявили: «все дороги в будущее нами заняты». Несомненно, что от ближайшего подзатыльника эта пробка выскочит»⁶⁴.

Резкость и полемический запал этой статьи были обусловлены тем, что к этому времени футуристы-лефовцы и символисты не только размежевались, но и вступили в открытую конфронтацию, заняв непримиримую позицию по отношению друг к другу. Причем, как те, так и другие зачастую были неправы.

Еще в своей работе «А. Крученых грандиозарь» И. Терентьев писал, что «поэты-символисты, утвердившие в себе союз формы и содержания, были кровосмесителями, их потомство рахитично, оно:

⁶³ Гижимкрели М. «Известен ли вам этот портрет?» «Вечерний Тбилиси», 1985, № 219.

⁶⁴ Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 285.

Чахоточной ночью выхаркано
в грязную руку Пресни.

(Маяковский)⁶⁵.



Со временем расхождения углублялись. Перед отъездом в Баку у И. Терентьева, очевидно, произошла очередная литературная стычка с символистами, которые и «побили» его, разумеется, не в прямом смысле (вспомним вопрос грузинских футуристов: «Кого бить?»). Называя своих противников по литературному лагерю «националистами», И. Терентьев, конечно же, имел в виду лишь то, что они, по его мнению, «изменили» принципам «вселенской» поэзии, «поэтическому интернационалу», т. е. клонились к национальной тенденции.

Символисты резко выступили против того места из статьи И. Терентьева, в котором упоминаются грузинские футуристы-лефовцы, которых символисты отказывались признавать. Особенно заделли «Т. Т.» слова И. Терентьева о том, что «к нему якобы пришли более чем 25 молодых грузинских лефовцев, которые попросили совета и защиты от голубороговцев», что «голубороговцы тормозят рост грузинской поэзии и будто бы кроме себя никого не признают». «Мы не знаем, — писал «Т. Т.», — кто эти 25 человек и почему они должны были обратиться к Терентьеву. В этом, очевидно, проявляется фантазия его 41°»⁶⁶.

Тон статьи И. Терентьева, конечно же, не мог не задеть символистов. Но справедливости ради надо сказать, что И. Терентьев не писал о том, что футуристы просили «защиты от голубороговцев», а также — о том, что «голубороговцы тормозят рост грузинской поэзии» и «кроме себя никого не признают». И. Терентьев просто привел цитату из «Манифеста» символистов: «все дороги в будущее нами заняты», предрекая что скоро «эта пробка выскочит».

Ну, а то обстоятельство, что грузинские футуристы-лефовцы, литературная группа которых «Мемарцхенэоба» («Левизна») начала формироваться в 1922 году (т. е. тогда, когда И. Терентьев на время выехал в Баку), могли и должны были общаться с живущим в Тбилиси поэтом и теоретиком футуризма не должно вызывать особого удивления. Ведь грузинские футуристы в своем «Манифесте» (1922) недвусмысленно

⁶⁵ Терентьев Игорь. Собр. соч. с. 222.

⁶⁶ Т. Т. «Директор 41 градуса Терентьев», «Рубикони», 1923, № 11 (на груз. яз.).

заявили: «Характерными чертами грузинской поэзии будут размах, смелость и мятежность. Не будем задерживаться перед музеями и памятниками и создадим будущее Грузии, которое вне пространства и времени. Мы отрицаем то, что было до нас, отныне Грузия начинается с нас. Мы влюблены в ржавую от дыма машин толпу, восторженно рукоплещущую революции. Мы отрицаем прошлое»⁶⁷.

Как видим, при благих намерениях и влюбленности в революционную толпу, грузинские футуристы почти механически переписывали лозунги из итальянских и русских футуристических манифестов, на основе которых строились теоретические суждения и И. Терентьева. Конечно же, отрицание многовекового, богатейшего культурного наследия в Грузии было делом более чем смелым. Поэтому, как пишет И. Терентьев, грузинские футуристы-лефовцы чрезвычайно опасались этого («В Грузии это невозможно, нас убьют...»). Однако в конце концов модное течение захватило и их. По словам С. Чилая, «текущему грузинскому искусству, как утверждали они, чужд дух современности. Революция уничтожила романтику, созданную феодальными и мелкобуржуазными мыслителями. Коммунистическое строительство уничтожило старую психологию. Грузинская классическая литература должна быть отвергнута как искусство старое, созданное феодальным и буржуазным вкусом. Однако и пролетарские поэты не могут претендовать на то, что они являются выразителями социалистического революционного искусства: они находятся под влиянием старого искусства и не порвали связь с литературным наследием прошлого. Только футуризм и конструктивизм полностью соответствуют новым, революционным началам жизни...

...Субъективно все это имеет целью поддержку позиций Советской власти в области литературы; безусловная заслуга футуристов состоит также в том, что они боролись против **символистов** и других буржуазно-демократических групп того времени. Объективно же грузинские футуристы мешали развитию грузинской литературы, их позиции принципиально не отличались от позиций формалистических школ. В новизне форм видели они новаторство. По языку и стилю эта группа

⁶⁷ Манифест «Грузия — феникс», 1922 (на груз. яз.).

шла под знаком тех же декадентов, которые, подобно им, отрицали достижения и традиции классической литературы»⁶⁸.

Как видим, позиции грузинских футуристов-лефовцев тесно соприкасались с кредо русских футуристов. Грузинские футуристы — Симон Чиковани, Акакий Белиашвили, Бесо Жгенти, Демна Шенгелая, Николоз Чачава, Давид Гачечиладзе, Бидзина Абуладзе, Шалва Алхазишвили и другие, многие из которых впоследствии стали выдающимися представителями грузинской советской литературы — имели немало точек соприкосновения с теоретическими суждениями И. Терентьева. В частности, как уже отмечалось, И. Терентьева и С. Чиковани сближало не традиционное для футуристов отношение к классическому наследию, попытки гальванизировать его опыт в рамках новой эстетической системы.

В своей статье «Леф Закавказья (Компания 41°)» И. Терентьев, напомню, писал, что он посоветовал грузинским футуристам: «Комбинируйте языки на заумной основе. Это будет самое нужное и самое опасное дело». Этому совету грузинские футуристы последовали неукоснительно, провозгласив идеалом поэзии, ее «регулирующим принципом» заумь. «Для поэтической практики Чиковани этого времени, — писал Б. Жгенти, — характерно увлечение «заумью», «словостроением» — эти крайние эксперименты, невзирая на определенное новаторское значение, оставались недоступными и неприемлемыми для широких читательских масс»⁶⁹.

В программном манифесте⁷⁰ грузинские футуристы-заумники претендовали на звание представителей «школы революции», выступая с этих позиций против символистов. К примеру, С. Чиковани в то время считал, что в поэзии грузинских символистов-голубороговцев «никак не выявлялись характерные особенности Грузии, даже ее природы»⁷¹.

Литературная борьба грузинских футуристов с голубороговцами нашла отражение на страницах как печатных органов символистов, которые уже упоминались, так и в журналах и газетах футуристов — «H₂SO₄», «Литература да схва»

⁶⁸ Чилая Серги, «Очерки истории грузинской советской литературы», Тб., 1960, с. 28—29 (Подчеркнуто нами. — И. Б.).

⁶⁹ Жгенти Бесо, «Сильные единством», М., 1984, с. 102.

⁷⁰ «H₂SO₄», 1924, № 1 (на груз. яз.).

⁷¹ Чиковани Симон, Стихи, М., 1935, с. 8.

(«Литература и другое»), «Мемарцхенэоба» («Левизна»). Со временем взаимоотношения этих двух групп все более и более обострялись. И именно этим обострением следует объяснить изменение взаимоотношений голубороговцев с И. Терентьевым, не терявшим своей приверженности к футуризму.

«Разумеется, то обстоятельство, что футуристы искренне были убеждены в правоте революции и сами выступали проповедниками революционного быта, — пишет С. Чилая, — сближало их с новой литературой. Не случайно поэтому среди различных антиреалистических группировок того времени они впервые принципиально переоценили свои взгляды и стали в ряды строителей новой литературы»⁷². «После нескольких лет своеобразной работы над словом, — писал С. Чиковани, — я и большинство моих друзей отошли от «левизны»⁷³. Но все это было позже. А в конце 10-х — начале 20-х гг. грузинские футуристы, несомненно, должны были общаться с И. Терентьевым. И то, что у нас нет материалов об этом общении можно, пожалуй, объяснить лишь трагической судьбой русского поэта, которого нельзя было упоминать в воспоминаниях и статьях.

Говоря о тбилисском периоде жизни И. Терентьева, нельзя не сказать и о его увлечении творчеством гениального грузинского художника-самоучки Нико Пиросмани (Пиросманашвили), которого именно в этот период «открывали» для самых широких кругов любителей искусства братья Зданевичи и Михаил Ле-Дантью. И. Терентьев не только был знаком с творчеством Пиросмани, но и создал в Тбилиси несколько полотен, выполненных в его манере. Более того, как выясняется, И. Терентьев попытался внести свой вклад в благородное дело популяризации творений Пиросмани. В конце сентября 1922 года он писал И. Зданевичу из Тбилиси: «Будем издавать монографию о Пиросмане; выставку его картин предположено организовать в Тифлисе как национальный праздник; возможна правительств[енная] субсидия для устройства выставки Пиросмана в Париже. Имей это в виду. Желательно получить от тебя из Парижа солидное письмо с уверениями, что Пиросман в Париже — верное дело»⁷⁴.

⁷² Чилая Серги. «Очерки истории грузинской советской литературы», Тб., 1960, с. 29.

⁷³ Чиковани Симон. Стихотворения, М., 1957, с. 8.

⁷⁴ Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 396.

Монография «Нико Пиросманашвили», о которой, вероятно, здесь идет речь, вышла в свет в Тбилиси в 1926 году на грузинском, русском и французском языках. В нее вошли статьи Тициана Табидзе, Григола Робакидзе, Геронтия Никоидзе, Кирилла Зданевича и Колау Чернявского. К сожалению, своевременно не осуществился и проект организации выставки полотен Пиросмани в Тбилиси и в Париже (однодневная выставка его работ в зале тбилисской Консерватории состоялась в апреле 1926 года, а большая выставка полотен Пиросмани открылась в феврале 1927 года). Единственное, что успел сделать И. Терентьев в Тбилиси — это издать вместе с К. Зданевичем и Н. Чернявским сборник «Пир», посвященный грузинскому художнику, о чем упоминает Т. Табидзе⁷⁵. Тут же, пожалуй, следует отметить, что И. Терентьев сопровождал картины Пиросмани в Москву. В марте 1923 года он писал И. Зданевичу из Тбилиси: «Сегодня пятница, а в бл[ижайший] четверг мы с Кириллом [Зданевичем] [едем] в Москву. Он везет картины Пиросмана для изготoвл[ения] кл[ише] к монографии»⁷⁶.

Авангардистское экспериментирование, смелые поиски и новаторские дерзания в конечном счете не пропали даром. По словам В. Новикова, «Русский авангард — понятие достаточно конкретное: это футуристическая и постфутуристическая культура (обэриуты в том числе). Он никогда не претендовал на роль господствующего стиля (авангард не может не быть меньшинством по самому определению своему), но он помог определиться в поэзии Пастернаку и Цветаевой, в прозе — Пильняку и Платонову, Бабелю и Зощенко»⁷⁷.

Несомненно, И. Терентьев займет свое место как в истории русской литературы, так и в истории русского театрального искусства. Для нас же он интересен еще и тем, что его жизнь и творчество позволяют пролить дополнительный свет на бурлящую культурную жизнь недолговременной, но оставившей яркий след в истории Грузинской Демократической республики.

⁷⁵ Табидзе Тициан, Соч. в трех томах, т. II. Тб., 1966. с. 160 (на груз. яз.).

⁷⁶ Терентьев Игорь, Собр. соч., с. 397.

⁷⁷ «Литературная газета», 1989, № 46.



Юрий ХЕЧИНАШВИЛИ

ХРОНИКА ОДНОЙ РОДОСЛОВНОЙ

Недавно из Парижа пришло известие, проливающее свет на историю, которая могла бы стать сюжетом большого романа.

В конверте было письмо и две маленькие записки, вернее их копии, одна из которых начертана на своей же визитной карточке Арсеном Хечинашвили-Цебржинским; и та и другая адресованы его матери, легендарной женщине-патриотке, участнице войны 1914—18 годов, кавалеру Георгиевского креста.

...На одном из затененных пышной зеленью каштанов пригородных кладбищ Лиона во Франции есть скромная могила женщины — уроженки далекого приморского города Батуми, сестры милосердия первой мировой войны, матери отважных военных летчиков сил Сопротивления Елены Константиновны Хечиновой (Хечинашвили).

Родилась она в 1890 году в семье одного из первых в Грузии капитанов дальнего плавания торгового флота Константина Ивановича Хечинова (Хечинашвили), ставшим впоследствии лоцманом Батумского порта и первым в республике в 1929 году удостоенным почетной грамоты «Герой труда».

Мать Елены — Ромуальда Симеоновна Алешкевич, полька по происхождению, принадлежала к знатному дворянскому роду; окончила Варшавскую художественную академию, была разносторонне образованным человеком.

В семейном альбоме хранится пожелтевшая от времени фотография, с которой смотрят на нас Ромуальда Симеоновна и ее четверо детей — старшая дочь Елена, сыновья Виктор, Валентин и маленький Евгений.

Ни один ясновидец не мог бы предсказать тогда их дальнейшую судьбу, разбросавшую всех по свету, придавшую страхом и лишениями двух кровопролитных войн и не менее страшных репрессий, но так и не лишившую любви к своему отечеству.

Горькую чашу пришлось испить старшей — Елене.

Говорили, что в детстве эта хрупкая девочка совершала смелые поступки, бесстрашно лазила по деревьям и прекрасно плавала. Пример отца — глубоко почитаемого в городе капитана, революционно настроенного отважного мореплавателя и романтическая сентиментальность матери — незаурядной художницы, формировали эту пылкую и вольнолюбивую натуру.

После окончания Батумской женской гимназии она вышла замуж за молодого врача Владислава Брониславовича Цебржинского и вместе с ним в 1909—1910 годах жила в Санкт-Петербурге, где закончила акушерские курсы.

В 1911 году Цебржинские переезжают в город Холм по месту нового назначения Владислава Брониславовича в военный лазарет. С начала первой мировой войны в составе 141-го Можайского полка он был отправлен на фронт, где 26—30 августа 1914 года в боях под Сольдау в Восточной Пруссии попал в плен.

Узнав о печальной судьбе мужа, Елена Константиновна решает во что бы то ни стало непосредственно участвовать в этой войне. Оставив сыновей — шестилетнего Виктора и трехлетнего Арсена — у родителей в Батуми, она направляется на фронт.

В Центральном государственном военно-историческом архиве СССР хранится приказ № 365 войскам IV-й армии от 10 июня 1915 года, подписанный командующим армией генералом от инфантерии Эвертом, следующего содержания: «19 сентября 1914 г. с одной из маршевых рот прибыл на укомплектование 186-го Асландузского полка фельдшер-доброволец Цетнерский. Со дня своего прибытия в полк фельдшер-доброволец, находясь при 7-й роте, в высшей степени добросовестно исполнял свои специальные обязанности как на походе, так и в бою, причем не только в ро-



Е. К. Хечинова —
фельдшер Цетнерский

доставил важные и весьма точные сведения о его силах и расположении, что и способствовало быстрой атаке и занятию нами этой деревни. Затем, 4 ноября, в бою, западнее указанной деревни, находясь в продолжение всего дня в боевой линии под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и проявляя необыкновенное самоотвержение, названный фельдшер-доброволец оказывал помощь раненым.

Наконец, вечером того же дня, фельдшер-доброволец Цетнерский, во время перевязки своего раненого ротного командира, сам был ранен осколком тяжелого снаряда, но несмотря на это, продолжал начатую перевязку и только по окончании таковой, сам перевязал себя, после чего под сильным же огнем артиллерии противника, забывая собственную рану, вынес своего ротного командира из боевой линии огня.

При окончательной перевязке в 12-ом передовом отряде Красного Креста названный фельдшер-доброволец оказался

те, к которой был причислен, но и везде, где только он узнавал, что нужна была медицинская помощь. Все тяготы походной и боевой жизни названный фельдшер-доброволец нес наравне со строевыми нижними чинами, часто подавая пример выносливости, хладнокровия и бодрости духа.

2 ноября 1914 г. при наступлении полка на деревню Журав, когда артиллерия противника начала обстреливать боевой порядок полка, занявшего опушку леса, что к востоку от этой деревни, названный фельдшер-доброволец, выжавшись охотником, под сильным шрапнельным огнем противника влез на дерево, стоявшее впереди цепи, и, высмотрев расположение цепей, пулеметов и артиллерии противника,

женщиной, дворянкой Еленой Константиновной Цетнерской. Оправившись от ран, г. Цетнерская вновь было добровольно возвратилась в полк в форме санитаря-добровольца и заявила о своем желании послужить Родине в боевой линии, но, как женщине, в этом ей было отказано.

По докладу Государю Императору, обстоятельств этого дела Его Императорское Величество в 6-ой день мая сего года, Высочайше повелеть соизволил на награждение дворянки Елены Цетнерской Георгиевским Крестом 4-ой степени за № 51023 по званию фельдшера-добровольца 186-го пехотного Асландузского полка».

Командир 186-го Асландузского пехотного полка полковник Лукомский, еще не зная о перевоплощении Елены Константиновны, представил прапорщика Цетнерского за вышеописанный подвиг к ордену Анны 2 степени с мечами.

Впоследствии Елена Константиновна Цебржинская, а не Цетнерская, как записано в приказе, вспоминая о своем участии в бою под Ченстоховым у деревни Журав, подробно описывает происшедшее. Эти воспоминания приведены в книге «Герои и трофеи Великой народной войны», изданной в 1916 году.

Из выписки «Списка фельдшеров, находящихся на службе в полевых лечебных учреждениях Красного Креста на театре военных действий от 3 мая 1916 г.», представленного Управлением Красного Креста при Кавказской армии в Главное Управление РОКК следует, что Елена Константиновна с 30 мая 1915 года продолжила службу в качестве фельдшера в санатории Красного Креста в Агудзера под Сухуми в 3-ем передовом отряде. 14 июля того же года она на месяц командирована в распоряжение помощника Главного уполномоченного Почетного лейб-медика Рзаева в Железноводск для прохождения курса лечения, а затем находится в месячном отпуске. Отчислена от службы с



Е. К. Хечинова —
сестра милосердия

31 декабря 1915 года, а с 18-го марта следующего года вновь служит сестрой милосердия.

Ее супруг, как следует из его послужного списка, родился 3 января 1884 года в Бессарабской губернии в семье потомственных дворян. По окончании курса наук в Императорской военно-медицинской академии в 1910 году признан в степени лекаря и за пользование в Академии стипендией военного ведомства обязан был прослужить четыре года. Так Владислав Цебржинский Высочайшим приказом по военному ведомству о гражданских чинах был определен 2 января 1911 года на службу в 14-й Сибирский стрелковый полк младшим врачом. Но тут же последовал очередной приказ от 18 января о перемещении его для пользы службы младшим врачом 70-го пехотного Ряжского полка с прикомандированием для несения службы к Холмскому линейному лазарету, откуда и был затем в составе 141-го Можайского полка отправлен на фронт. Дальнейшая его судьба после пленения неизвестна.

В это же время смотрительницей перевязочного материала медицинского отдела тбилисского полевого склада Красного Креста работала родственница Елены Константиновны Тамара Львовна Хечинова, удостоенная приказом главнокомандующего Кавказской армией от 4 января 1917 года за безупречную службу серебряной нагрудной медалью на Станиславской ленте.

Спустя много лет Ирэн Волкман (Карпинская) — дочь Елены Константиновны от второго брака, проживающая ныне в предместье Парижа Антони, расскажет нам о том, как после окончания первой мировой войны, а точнее в конце 1919 года, ее мать сформирует эшелон на русских военнопленных и раненых, оказавшихся к концу войны на территории Польши, и перевезет их в Советскую Россию.

После завершения миссии милосердия Елена Константиновна в начале 1920 года снова в Тбилиси у своей родной тетки Эмилии Ивановны Назаришвили (Хечиновой). Она просит никому не говорить о ее приезде. Возможно, подобная конспирация была вызвана тем, что ее отец — капитан уже находился под подозрением у батумской жандармерии за помощь, оказываемую революционерам.

Здесь же, по-видимому, состоялась встреча Елены Константиновны с Тамарой Хечиновой. Они знали друг о друге не только по родственной линии, но и из строк войсковых

приказов во время минувшей войны, в которых фигурировали и их имена.

Пробыв несколько дней в Тбилиси, Елена Константиновна направляется в Батуми, где находились на попечении родителей ее сыновья Виктор и Арсен, и увозит их в Польшу.

Сыновья заканчивают там летное училище, становятся военными летчиками, на что могло подвигнуть их и героическое прошлое матери, и увлечение воздухоплаванием ее родного брата Виктора, который непосредственно перед первой мировой войной сплотил вокруг себя в Батуми энтузиастов, участвовал в показательных полетах.

Позднее, став известным специалистом-геологом и преподавателем политехнического института в Тбилиси Виктор Хечинов издал в 1929 году свою первую монографию о литографских камнях Грузии, а затем стал работать над уникальной для того времени книгой «История летания в Грузии», опубликованной в 1935 году. В ней подробно рассказывается о грузинских авиаторах, в том числе об одном из старейших в СССР и вместе с тем первом авиаторе Грузии — Виссарионе Савельевиче Кебурове (Кебурня), о талантливом авианиженере Михаиле Леонтьевиче Григорашвили, пилоте Владимире Эристове и других. Вспоминает автор и о полетах знаменитого воздухоплователя Гуго Тайлера, которые тот осуществлял на воздушном шаре «Полярная звезда» 15 октября 1908 года в Батуми и 15 марта 1910 года — в Кутаиси. Потрясенным очевидцем их Виктор оказался, еще учась в Кутаисской гимназии. Показательные выступления в Кутаиси для Гуго Тайлера окончились трагически.

Возможно, гибель отважного воздухоплователя на глазах у юного гимназиста и предопределила его дальнейшую судьбу страстного поклонника, участника и пропагандиста развития стечественного воздухоплавания.

Заканчивает свою монографию В. Хечинов так: «Достижения советской авиации уже известны всему миру. Лозунг тов. Сталина «Догнать и перегнать» осуществляется на деле и реальные успехи его мы наблюдаем каждодневно».

Мог ли автор этих патетических слов предполагать, что через два года в 1937 году по ложному доносу он будет репрессирован и бесследно исчезнет в одном из многочисленных лагерей...

Настоятельные просьбы сообщить о его судьбе, рассы-

лаемые в различные инстанции младшим братом Евгением Константиновичем, оставались без ответа...

Супруга Виктора, Тамара Александровна Грузинская, потеряв мужа, полностью посвятила себя в те трудные годы воспитанию единственного сына, ставшего впоследствии известным грузинским поэтом-песенником Петре Грузинским.

Последовавшая через долгие годы реабилитация не сгладила да и не могла сгладить чувства боли и несправедливости.

А в Европе уже грохотали пушки, коричневая чума фашизма, утопив в крови Испанию, расползалась по континенту.

Нападение гитлеровской Германии на Польшу, как взрывной волной, разбросало семью Елены Константиновны. Внезапно разлученная со всеми, она начинает вести поиски своих уже взрослых детей. Бскоре ею была получена написанная на грузинском языке записка от младшего сына Арсена о том, что он находится в одном из концентрационных лагерей.

Из плена, по словам Ирэн, Арсен и адресует матери маленькую записку, а вернее, стихотворное послание на грузинском языке. В нем есть такие строки:

**Ковер цветов на скорбной тризне,
Нам умирать пришел черед,
Но взор мой обращен вперед,
К богатырям моей отчизны.**

Ирэн рассказывает, что, получив эту записку, Елена Константиновна отправляется в опасный, полный лишений путь — в Германию. Как удалось ей спасти Арсена — неизвестно. Но чудо свершилось!

После нападения немцев на Советский Союз она была угнана из Польши в Германию вместе с девятнадцатилетней дочерью Ирэн.

К тому времени военные летчики Арсен и Виктор примыкают к силам Сопротивления, местом сосредоточения которых была Англия. Туда же после освобождения из плена устремится Ирэн. Она поступает на службу телеграфисткой морского флота. К великому сожалению, радость матери за своих детей, вызволенных из пут фашизма, была недолгой.

В одном из воздушных боев над Ла-Маншем самолет летчика-офицера Арсена Хечинашвили-Цебржинского, дотянув до берега, врезается в землю и сгорает.

Вместе с уведомлением о героической смерти сына мать получает обгоревший офицерский эполет, который наряду с записками Арсена бережно хранится у Ирэн.

В интервью, данном премьер-министром Великобритании главному редактору журнала «Огонек» Виталию Коротичу, опубликованном в одном из мартовских номеров за прошлый год, мне запомнились слова, сказанные Маргарет Тэтчер об английских летчиках: «...В конце концов он (Гитлер) напал на нас с воздуха, причем у нас было значительно меньше самолетов и летчиков. И все же британцы оказались самыми храбрыми летчиками в мире и помогли нам выстоять». Именно в этой воздушной битве, 11 сентября 1940 года, вдали от своей отчизны и погиб смертью храбрых Арсен Хечинашвили-Цебржинский, с почестями похороненный на земле туманного Альбиона. Уверен, что благодарные англичане, вспоминая своих героев, не обходят стороной и могилу отважного летчика, родиной которого была далекая Грузия.

Значительно меньше сведений о Валентине Константиновиче Хечинове, который, окончив батумскую гимназию, пошел по стопам своего отца — закончил в Санкт-Петербурге мореходное училище, начал работать в торговом флоте, на судне, принадлежащем германской фирме Берен Штерн.

В 1921 году судьба забрасывает его в Константинополь, где спустя два года он женится на Евгении Ивановне Корсаковой, дочери известного в то время русского врача.

Тоскуя по родине, в конце 20-х годов они возвращаются в Грузию, а затем переезжают в Одессу по месту службы Валентина Константиновича в качестве капитана торгового флота. В те годы все, включая детей Константина и Дагмару, проводят летние месяцы в Чакве (возле Батуми), у родителей отца семейства.

В 1933-35 годах на строительстве Аджарис-Цкальской ГЭС работал инженером самый младший из братьев Хечиновых (Хечинашвили) — Евгений Константинович, мой отец, который вместе с моей матерью жил тогда в Чакве.

Трагические события 1937 года и арест Виктора наложили отпечаток на дальнейшую судьбу его близких. К тому времени прерывается связь родителей с находившейся в Польше Еленой Константиновной.

Отечественная война 1941—1945 годов застаёт Валентина Константиновича в Одессе, их младший брат Евгений с супругой и детьми Юрием и Аллой находятся в Тбилиси, а их пожилые уже родители — в Чакве.

В последний момент перед оккупацией немцами Одессы Валентин Константинович с семьёй и другими беженцами морем эвакуируются из разрушенного до основания города, но, попав в плен, оказываются интернированными в Германию. В конце 1944 года капитан и его семья освобождаются союзническими войсками, стремительно продвигавшимися на Западе, и, по невероятной случайности, встречаются с Еленой Константиновной и Ирэн, также в эти дни обретшими свободу.



Капитан дальнего плавания, лоцман Батумского порта
К. И. Хечинов с сыном Евгением.

Затем все попадают во Францию, где не без помощи своей старшей сестры капитан поступает на работу в одну из пароходных компаний, занимавшихся перевозкой грузов по Амазонке, а его супруга Евгения Ивановна устраивается врачом туда же. После долгих и изнурительных лет труда им удается купить частный дом в столице Венесуэлы — Каракасе, а в 1965 году переехать на жительство во Флориду в США.

Оказавшись с семьёй на чужбине, Валентин стремится наладить связь с родными, но первая весточка от него через посредство Международного Красного Креста доходит лишь к концу войны, в 1945 году, когда престарелые родители переехали к младшему сыну в Тбилиси.



Из писем Валентина Константиновича мы узнали о том, что его старший сын Константин, названный в честь своего деда, стал зубным врачом, а дочь — Дагмара, выйдя замуж за Александра Кулика — представителя фирмы ИБМ по продаже компьютерной техники, затем Президента собственной фирмы «Кулик Интернейшл Трейд», долгое время работала там же. Александр Кулик и его фирма на протяжении многих лет имела устойчивые торговые взаимоотношения с Советским Союзом, подчеркивая свои симпатии к советскому народу и партнерскую приверженность.

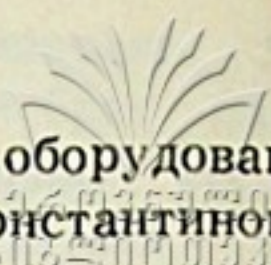
Это дало возможность им, а затем и их сыну Александру Кулику-младшему, ставшему впоследствии представителем американской фирмы «Сатра Корпорейшн» в Москве, часто посещать нашу страну, начиная с 1971 года, и, наконец, встретиться и познакомиться со своими грузинскими родственниками.

Более благополучно сложилась жизнь младшего сына — Евгения Константиновича Хечинова, но и ему на протяжении долгих лет пришлось жить в страхе, быть репрессированным...

По этой же причине в последние годы забытым оказался и первый среди грузин капитан дальнего плавания Константин Иванович Хечинов (Хечинашвили). За 65-летнюю безупречную службу и революционные заслуги ему не раз объявлялись благодарности. Морская карьера его началась в 1876 году, когда молодой грузинский моряк поступил на парусное судно, плавающее в каботажном плавании, а в 1878 году отправился в дальнее плавание; с тех пор занимал разные должности на судах, вплоть до капитана дальнего плавания. Вот как он сам пишет о предреволюционном периоде своей работы: «...В 1905 году, в дни революции, будучи капитаном парохода «Берта», принял меры, чтобы не были задержаны кочермы, на которых выгружали с иностранного парохода оружие для революционеров Потийского района. В дни же реакции я скрывал на вверенном мне судне революционеров».

В 1913 году Константин Иванович был назначен лоцманом Батумского порта и на этой должности безупречно прослужил до увольнения в отставку в 1929 году.

Последние годы жизни старый капитан со своей супругой жили с семьей младшего сына — инженера, призванного в состав инженерных войск для демонтажа с территорий Поль-



гли, Чехословакии и Германии электрического оборудования и перевозки их в СССР. Вернулся Евгений Константинович домой уже после окончания войны и был направлен на строительство Храмской ГЭС.

По настоянию главного инженера стройки А. М. Гиндина (крупнейшего впоследствии инженера-гидротехника) Е. К. Хечинов против своей воли был «на общественных началах» приставлен переводчиком английского языка к двум шведам — представителям фирмы, поставлявшей для станции гидросиловое оборудование и металлические конструкции высоконапорного открытого трубопровода. Это обстоятельство очень угнетало его и, по-видимому, кроме всего прочего, явилось причиной того, что представленный в 1947 году к ордену Трудового Красного Знамени в связи с успешным пуском в эксплуатацию крупнейшей по тем временам гидроэлектростанции, он этой награды не получил.

Вскоре после смерти супруги в 1953 году в неизвестности скончался «дедушка» грузинских моряков Константин Иванович Хечинов (Хечинашвили).

Лишь после смерти Сталина, на фоне общего «потепления» морального климата и в целом обстановки в стране мой отец, как и многие другие, облегченно вздохнул. В конце 50-х годов наладилась его переписка через океан с братом Валентином.

В 1955 году, после работы в тресте «Грузгидроэнергострой» Е. К. Хечинов был назначен заместителем главного инженера Управления строительства Ладжанурской ГЭС, а затем главным инженером Дирекции линии электропередач и подстанций «Грузглавэнерго».

Евгений Константинович был кристально честным, добросовестным и трудолюбивым специалистом, а для близких, несмотря на полные драматизма, лишения и трудностей годы, навсегда остался в памяти жизнерадостным, неунывающим и веселым человеком.

Такова история семьи Хечинашвили—Цебржинских...

...Но жизнь продолжается, и сегодня в Париже и Нью-Йорке, в Тбилиси и Москве живут их дети и дети их детей. Постепенно знакомятся друг с другом представители молодого поколения Хечинашвили. Протягивая руку дружбы через океан и континенты, они отгоняют от планеты приз-

рак войны, подозрительность и страх, сквозь которые прошли их совсем недалекие предки.

Каждый народ творит свою историю, и складывается она из отдельных человеческих судеб. Забыть их — значит забыть свою историю, свои истоки, свое лицо. Имена достойных сынов отчизны должны жить в памяти народной. Вот почему часто, вглядываясь в морскую даль родного мне Черного моря, я мечтаю увидеть корабль с дорогим сердцу названием «Константин Хечинашвили».



КТО ВИНОВАТ? — вопрос Министерству связи СССР

Письма с просьбой о помощи в подписке на наш журнал поступали к нам со всех концов Советского Союза. Невольно мы стали задумываться: вот, мы получаем столько писем, тогда как отделения «Союзпечати» должны производить подписку без ограничения, в чем же дело? Так и не узнав этого и не будучи в силах объяснить каждому в отдельности, как утолить жажду знакомства с литературной, культурной, политической жизнью Грузии с помощью единственного (на русском языке) журнала — «Литературной Грузии», — мы написали на 3-ей странице обложки, куда следует обращаться в подобных случаях. С тех пор поток писем такого рода иссяк, зато остался этакий привкус горечи — до чего же бездушны органы «Союзпечати»!

Однако, существуют еще письма иного рода, которые мы продолжаем получать в неменьшем количестве. Вот любопытный фрагмент письма тов. А. А. Чиркова из Ижевска: «Пишет Ваш читатель с 1980 года и подписчик с 1986 года. Дело в том, что в Удмуртской АССР нас всего 6, еще 1 экземпляр поступает в нашу республиканскую библиотеку. В этом, 1989 году, после 5-го номера длительное время не было 6-го. Я думаю, что у вас трудности с бумагой и вовремя не стал тревожиться. Недавно я получил 7 номер, начал выяснять — почему мне не прислали 6. Наша «Союзпечать» провела служебное расследование и пояснила мне, что экспедиция «Союзпечати» в Тбилиси вместо 6 экземпляров в нашу республику прислала только 4, соответственно мне и еще одному товарищу шестого номера не хватило. Я не стал ругаться с ними — это бесполезно, тем более, что в адрес грузинской «Союзпечати» они дополнительной заявки не удосужились послать, предложили это сделать мне, ибо они уже не верят, что их заявка будет выполнена. Видимо, был горький опыт не только с представителями «Союзпечати» Закавказья, но и Средней Азии.

Адреса грузинской «Союзпечати» я не знаю, потому пишу Вам. Мне хотелось бы иметь полный комплект Вашего журнала за этот год, а вот с отсутствием 6, а не дай Бог, и других номеров (я оформил годовую подписку), это может не получиться. Ждал я романы Г. Робакидзе, но Вы решили напечатать их в будущем году. Я все равно выписал Ваш журнал на 1990 год. Таким образом, убедительно прошу похлопотать перед типографией, а может быть у Вас найдется лишний 6 номер — пришлите его мне, хотя бы наложенным платежом. С уважением и наилучшими пожеланиями Анатолий Чирков».

Не успели мы выпросить недостающий номер у знакомых (из редакционной подшивки ведь не вырвешь!), как приходит новое письмо того же читателя: «Несколько дней назад я отправил Вам письмо с просьбой выслать 6 номер Вашего журнала. Даю, как говорится, отбой этой просьбе, потому что я сам зашел в нашу «Союзпечать» за решением этой проблемы, и мне из недр шкафа в отделе обработки заказов «выкопали» 6 номер журнала. Кто-то его, правда, уже читал, ну это не беда — я сам даю некоторые номера знакомым для прочтения. Таким образом, меня ввели в заблуждение и я бросил тень, сам того не желая, на ваших товарищей из «Союзпечати». Прошу прощения и всего всем добрым людям, живущим в Грузии, я желаю хорошего!».

Свидетелем немалых таких «детективных» историй доводится нам быть в нашей редакционной жизни. Нам приходится выслушивать и очень горькие упреки. Вот, тов. А. А. Резников из Киева пишет письмо в Министерство связи Грузинской ССР, а копии присылает нам, отделу культуры ЦК КП Грузии и железнодорожному почтамту. В письме читаем: «На этот год я имел несчастье выписать журнал «Литературная Грузия». Очень хотелось ближе познакомиться с литературой и культурой народа, который я издавна очень уважаю. Но видимо в тех органах вашей республики, которые ведают распространением республиканской печати за пределами республики, сидят бездушные, безответственные люди, которым глубоко безразлично, как будут судить об их республике в других местах. Более того, они не несут за свою сверхплохую работу никакой материальной и моральной ответственности... Иначе чем объяснить, что я не получил 1-й номер журнала, а в дальнейшем 6-й и 7-й номера... Урок мне преподали хороший: на следующий год журнал не выпишу и друзьям отсоветую. Но за этот год уж будьте добры, но возместите мне потери я где хотите найдите 1, 6 и 7 номера и вышлите их мне. Никогда не думал, что именно у вас так будут поступать с подписчиками. Очень ого-

рчен этим, тем более, что народ грузинский я по-прежнему уважаю».

А вот еще письмо, полученное совсем недавно: «Уважаемые товарищи! С большим удовольствием начал знакомиться с вашим журналом. Много интересных публикаций. Но вот беда — если в первой половине года журнал получал регулярно, то во второй — через один. Я не получил №№ 7 и 8, как быть, помогите! И есть ли гарантия, что я получу 10 и 12 номера (9 получил). С надеждой — Питуни Николай Александрович».

Правда, неприглядная получается картина? И еще вот вопрос: как быть тем, кто пожелает приобрести «Литературную Грузию» в розницу? Ведь даже в Тбилиси можно чуть не на пальцах сосчитать киоски, которые получают наш журнал. В столицы союзных республик он поступает в количестве 5—10 экземпляров, где уж тут говорить о городах менее престижных и несколько отдаленных! Интересно, что нам посоветуют ответственные работники из высокой министерской инстанции, как нам помочь своим читателям, предложить им, чтобы из далекого Владивостока ежемесячно приезжали к нам и получали бы журнал прямо из рук в руки, или, может статься, нам самим развозить его по домам?..

С уважением, Роман МИМИНОШВИЛИ



КОНТАКТЫ

Грузиноязычные книги в Израиле

Добрые отношения между людьми — это благо. Добрые отношения между народами — благо еще большее, тем более — в наши дни.

Статья Н. Бердяева «Христианство и антисемитизм», опубликованная в № 10 «Дружбы народов» за 1989 год, начинается цитатой из Леона Блуа¹: «Предположите, что окружающие Вас люди постоянно говорят с величайшим презрением о Вашем отце и матери и имеют по отношению к ним лишь унижающие ругательства и сарказмы, каковы были бы Ваши чувства? Но это именно происходит с Господом Иисусом Христом. Забывают или не

¹ Французский писатель, католик (1846—1917).



хотят знать, что наш Бог, ставший человеком, еврей, еврей по преимуществу по природе, что мать его еврейка, цветок еврейской расы, что апостолы были евреи, так же как и все пророки, наконец, что наша священная литургия почерпнула из еврейских книг. Но тогда как выразить чудовищность оскорбления и кощунства, которое представляет собой унижение еврейской расы?».

Когда я прочла эти строки, первой мыслью моей было: благодарение Богу, мы свободны от этого греха. И невольно вспомнила о том, как в старой части Тбилиси, на небольшой территории, с древности и по сей день умещаются и мирно соседствуют грузинский православный кафедральный собор Сиони, чуть поодаль — армяно-григорианская церковь... еврейская синагога... и мусульманская мечеть. Грузин, который без малого два тысячелетия свято чтит Крест и Распятие, который с именем Святой Девы Марии погибал в бою за свободу своей отчизны и за веру Христову, в то же время всегда отличался редкой веротерпимостью и благожелательным отношением к иноплеменникам, живущим в его стране. И естественно, мы не можем сейчас равнодушно относиться к тем, кто спустя две тысячи шестьсот лет проживания с нами обрел наконец свою историческую родину и вернулся в страну обетованную — Эрец-Израиль. Ведь все эти две тысячи шестьсот лет у нас была одна земля — грузинская, одно небо и одно солнце. И один грузинский язык. Мы радуемся успехам наших бывших соотечественников, и нас до глубины души трогает их отношение к своему недавнему прошлому, к своей приемной родине — Грузии. Сегодня между Грузией и Израилем существуют устойчивые научные и культурные взаимосвязи, которые имеют совершенно определенную тенденцию к расширению, в Израиле сложился феномен грузинской культуры, языка, фольклора.

Одним из активных деятелей культуры и литературы среди грузинских евреев Израиля является г-жа Тамар Мамиствалова-Кезерашвили. Уроженка города Цхинвали, дочь раби Ицхака Мамиствалова, знатока еврейского религиозного учения и истории родного народа, а также литературы и истории Грузии, Тамар окончила исторический факультет Тбилисского университета, после чего работала в Сухуми, в редакциях грузинских газет, затем была собственным корреспондентом Грузинского радио и телевидения по Абхазской АССР.

В 1975 году Тамар с мужем и дочерьми уехала в Израиль. Здесь ее деятельность обогащается новым содержанием: она пишет, переводит, кроме того, заведует грузинской секцией объединения приезжих из СССР, сотрудничает в грузиноязычных журналах и газетах Израиля. С 1982 года и по сей день она руково-



дит отделом грузинских передач радио Израиля. Журналист, общественный деятель, писатель, публицист, переводчик — таков в основном спектр ее плодотворной творческой деятельности.

Как прозаик Тamar заявила о себе давно — первый сборник ее рассказов увидел свет в 1973 году в Сухуми. Недавно в Тель-Авиве вышел новый сборник ее рассказов — «Ожидание» (прекрасно оформленный художником Рэфаэлом Мошиашвили), заслуживший признание не только читателей, но и критики, по отзывам которой Т. Мамиствалова-Кезерашвили обогатила грузиноязычную литературу еще одной книгой.

Основная тематика ее произведений — это сегодняшний день грузинских евреев на родине, процесс их адаптации (порой очень нелегкий) в новой обстановке. Отчетливо звучат в ее рассказах и грузинские мотивы.

Особое место в творчестве Т. Мамистваловой-Кезерашвили занимает художественный перевод. Тamar в сотворчестве с братом г-ном Абрамом Мамистваловым и г-ном Гершоном Бен-Ореном (Цицуашвили) осуществили перевод с идиша на современный грузинский язык четырех книг Торы — Пятикнижия Моисея. В минувшем году в Тель-Авиве, в издательстве «Шукура» (Светоч» — груз.) вышел перевод четвертой книги Пятикнижия — «Числа». Прекрасно оформленное издание интересно еще и тем, что параллельно с грузинским текстом публикуется и еврейский. Книга снабжена вводной статьей переводчиков и предисловием раби Рэфаэла Элашвили. «Тора была первейшей опорой в деле спасения нашей нации, — пишет раби Рэфаэл. — Ее передавали наши предки из поколения в поколение, и она помогла нам сохранить себя (...) помогла вновь обрести родину. (...) Тора переведена на языки почти всех народов мира. Грузинский народ относится к тем редким культурным народам, которые уже в первые века новой эры перевели на свой язык все пять книг Торы».

Книги «Эсфирь» и «Руфь», а также «Псалмы» были переведены на грузинский язык отцом Тamar — раби Ицхаком Мамистваловым. Дети его продолжили задуманное им дело, которое сам он не успел довести до конца.

Издание грузинского перевода ветхозаветных книг имеет огромное значение для грузинских евреев. Мы же со своей стороны желаем нашим бывшим соотечественникам успехов на стезе добра и надеемся, что наши контакты будут развиваться и обогащаться на благо нашим народам.

Камилла КОРИНТЭЛИ



Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Рован АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Ананда БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили
Корректор Т. Бадриашвили

Сдано в набор 12.01.90 г. Подписано к печати 06.02.90 г.
УЭ 07510. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага типографская
№ 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд.
л. 14,0. Тираж 7.300. Заказ 142. Цена 65 коп.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства ЦК КП Грузии, по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 კ.

676/40

ИНДЕКС 76117
საქართველოს
საბჭოთავო ბიბლიოთეკა

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურნაია გრუპია“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო

ვაშლის 1957 წლის ივნისიდან

